



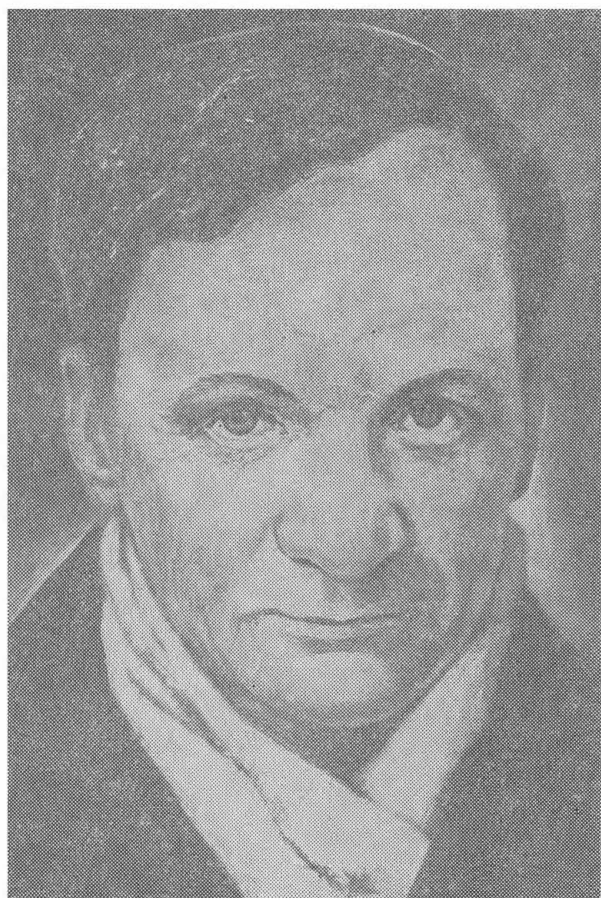
А. ПЛАТОНОВ

Июльская гроза



Scan Kreyder - 27.06.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





А. ПЛАТОНОВ

Июльская гроза

Рассказы

Редакционная коллегия:

Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г., Сафуанов С. Г.,
Филиппов А. Н., Хамматов Я. Х., Чванов М. А.

Предисловие В. А. Чалмаева.

Платонов А. П.

ПЗ7 Июльская гроза. Рассказы. Предисловие
В. А. Чалмаева. Уфа, Башкирское книжное
издательство, 1980.

272 с. (Серия «Золотые родники»).

В сборник рассказов Андрея Платонова включены лучшие произведения разных лет.

П $\frac{70301\ 118}{М\ 121(03) - 80}$ 109

Р2

ВЕЛИЧИЕ ПРОСТЫХ СЕРДЕЦ

Андрей Платонов как будто писал нарочито «тихо», не пробуя никого вокруг себя перекричать. Он вслушивался в мелодию мысли глубокой, постоянно обновляющейся. Слов громких, но бездуховных он стыдился. И писательский голос его, слегка приглушенный, утомленно-печальный, по-чеховски сдержанный, покоряет бесконечной собранностью, кротостью. Кажется, он никогда не знал весеннего буйства красок. Всегда над ним серовато-лиловое небо осени, холодок зрелой пронзительности мысли, одним словом, то, что увидел Ф. И. Тютчев в ранней среднерусской осени:

...изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

С немногих платоновских фотографий смотрит на нас человек, не знавший экстаза театральности, плена славы, человек, одухотворенный всепоглощающей заботой о человеке. На этом лице замечаешь одни глаза — живую поверхность его сердца. Вся телесная оболочка кажется и простоватой, «арифметической», и хрупкой для того огня сложной мысли, который он, автор «Джан» и «В прекрасном и яростном мире», вызвал в себе.

«Сказка жизни» Андрея Платонова, особенно на первых ее страницах, тоже необыкновенна и даже фантастична. Он родился в 1899 году в семье многодетного слесаря из Ямской слободы на окраине Воронежа. И с детских лет извещал горечь жизни «в людях», расслышал противный стук нужды в дверь. Поденная работа в разных местах, нередко по 16 часов в сутки, «за хлеб», который он приносил младшим братьям и сестрам, но одновременно и восхищение миром умных машин, паровозом, нашедшим затем в Пла-

тонове своего певца... Наконец, революция и «дробные» фронты под Новохоперском в 1919 году, где Платонов был уже корреспондентом «Известий Воронежского укрепрайона»...

Очевидцы последующего стремительного взлета Платонова, рабочего-самоучки, изумлялись многому. Первой крупной публикацией Платонова, недавнего помощника машиниста, страстного пропагандиста ленинского плана электрификации, была брошюра «Электрификация» (1921). И делегаты Воронежского съезда работников печати в 1920 году были поражены не столько докладом Платонова о плане ГОЭЛРО, сколько самим фактом: «не успел еще радиотелеграф полностью передать всего плана... инженера Кржижановского, а в нашем городе простой рабочий-журналист смело заявляет, что нужно поддержать предложения великого техника, что они вполне приемлемы и что в них наше спасение от голода, холода и нищеты» («Воронежская коммуна», 1920, № 295).

Откуда что взялось? Может быть, все великое действительно не имеет наглядных причин и окружает нас сразу, как лес, скрывая тайну и скорость роста?

Платонов в 20-е годы, с одной стороны, неутомимый пропагандист науки, яростный поклонник машин, мелиоратор, построивший в родном воронежском подстепье, на земле Кольцова и Никитина, плотины, колодцы, водоемы. Он призывал научную мысль, веявшую доселе над землей, как горный воздух, невесомый эфир, «влиться, вгрызться в землю и перестроить ее». И одновременно работал и сам, оставляя для дел по мелиорации и поэзию (хотя в 1922 году вышел его сборник «Голубая глубина», близкий космической лирике поэтов «Кузницы», замеченный В. Брюсовым), и журналистику, и диспуты в рабочих клубах, университете.

Но за кажущейся пестротой интересов, распыленностью внимания молодого энтузиаста науки таилось зерно высшей сосредоточенности. Революция оживила ростки многих идей. Великая гуманистическая идея, грандиозная утопия, родственная золотой мечте К. Э. Циолковского об эфирных поселениях в околосолнечном пространстве, мысль Н. Ф. Федорова об общем деле человечества необъяснимо властно увлекла Платонова. Из бесплотного мира мечтаний — а ведь человечество никогда не мечтало впустую! — Платонов взял, наполнил силами своей яркой революционной души, надеждами сердца одну мечту...

О чем? «Как случайную, нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной» («Эфирный тракт»).

Не ожидать пассивно будущего, не высматривать робко кусочек его из «кокона» жалкого одиночного бытия, а объединить всю свою деятельность, энергию, разум для завоевания будущего! Таково

единственное предназначение человечества в его взаимоотношениях со средой, взятой, конечно, в космических масштабах. Как у того же К. Э. Циолковского и его идейного вдохновителя, «московского Сократа», беззаветного пропагандиста науки Н. Ф. Федорова.

Это начало и есть загадка Платонова, секрет его уникального, не поддающегося «разгерметизации» художественного мира: он начал его строить с верхнего этажа...

О чем мечтают усвоившие жгучую платоновскую потребность действий инженеры-Прометей космической эры — в ранних повестях Платонова «Потомки солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт»?

Они, строя космические корабли, отыскивая электромагнитное русло притока эфира к электронам, ищут всецело в духе создателя «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, как отметила современная исследовательница творчества Платонова Н. Малыгина, «универсальное средство», призванное избавить человечество от голода, нищеты». Один из героев Платонова восклицает:

— Эх, земля! Не будь мне домом — несись кораблем небес!.. Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле, — тогда держи руль свинцовыми руками... («Эфирный тракт»).

Все восходящее в те годы восходило как будто к одной точке. И можно изумляться тому, сколько «мелочей», близких гениальным догадкам К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, С. П. Королева (скажем, открытие современной биоэнергетикой «электростанции живой клетки» и путей увеличения ее запасов), ожило в этой полузабытой фантастике Платонова! Россия в те годы действительно была, как сказал В. О. Ключевский, не очень опрятной «деревенской люлькой, в которой возилось и кричало мировое будущее». В том числе космическое...

Однако завоевание будущего, великое распрямление человека, бесподобное — и тревожное! — увеличение его власти над планетой и своим прошлым — непрочно, обманчиво, односторонне вне великой гуманистической традиции. Прежде всего вне уроков Пушкина, которого Платонов любовно назвал «наш товарищ» в статье 1937 года. Велика мощь научного разума, бесконечно заманчива мечта-утопия того же Н. Ф. Федорова, к которому с большим уважением относились и Л. Н. Толстой, и Ф. М. Достоевский, и А. М. Горький. Прекрасна его мечта о том мгновении, когда «земля станет первой звездой в небе, движимой не слепой силой падения, а разумом, восстанавливающим и предупреждающим падение и смерть...» И для Платонова день претворения этой утопии, как и для автора «Философии общего дела», — «день желанный, от века чаемый, необъятного неба ликование...»

Но слово Пушкина, а позже и Горького, высоко ценившего

талант Платонова и особенно «нежность отношения к людям», для Платонова, создателя классических советских новелл «Фро», «Река Потудань», «Июльская гроза» и «Возвращение», неизмеримо выше любых построений утопистов и ослепленных мощью машин инженеров. Платонов 30-х годов, открывший для себя Пушкина и частицу Пушкина в себе, — это новый художник. Пушкин научил его видеть великое созидание, идущее в глубинах быта, в пестром смешении «высокого» и «низкого», научил найти свою «Ассоль из Моршанска», будущую героиню «Фро».

Величие простых сердец... Это истинно платоновская тема, открытая при свете Пушкина. Пушкинский Евгений из «Медного всадника», как писал Платонов, «тоже ведь «строитель чудотворный», как и Петр I, — «правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной сверхчеловеку: в любви к другому человеку» («Пушкин — наш товарищ»).

Через Пушкина, через которого, вероятно, вообще на Руси умнело все, что способно поумнеть, и свершился главный творческий подвиг Платонова.

В лучших своих произведениях, начиная с «Ямской слободы» (1927), «Сокровенного человека» (1928), «Джан» (1934) и кончая рассказами «Афродита» и «Неизвестный цветок», Платонов, сохранив величественную космическую перспективу конечной цели человечества, раскрыл с замечательным психологизмом в ситуациях бытовой жизни, труда, войны процесс непрерывного «зодчества», созидания нового человека и новых гуманистических взаимосвязей человека и народа. Величие простых сердец — единственная гарантия любого величия науки, ее вмешательств в судьбы вселенной. Без этого величия нет истинного завоевания будущего.

Общеизвестна та жизненно-философская формула, которую часто используют для емкого определения гуманизма Платонова. Старый машинист из рассказа «Старый механик» говорит жене, торопясь в депо: «Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет. А без меня народ неполный!»

Платоновские машинисты и мастера в «Происхождении мастера», «На заре туманной юности», «Фро», вошедшие в историческую память народа краснофлотцы, преградившие путь фашистским танкам в Севастополь («Одухотворенные люди»), его дети с их «вкусом гуда» жизни («Июльская гроза», «Ветер-хлебопашец») — это замечательная галерея характеров. Без них не полон был бы портрет родной страны, советского народа.

Сейчас, когда многие сочинения Андрея Платонова (и прежде всего повесть «Джан», обретшая заключительные главы, объемом в два печатных листа) появились наконец по рукописям в полном

виде (А. Платонов. Избранные произведения в 2-х томах. «Художественная литература», 1978 г.), читатель поразится философской глубине чудесных формул, некогда устранившихся в газетах и журналах как «усложненное мудрствование». Нельзя, например, не восхититься мыслью Платонова-гуманиста об особой власти детской наивности и слабости над сердцами взрослых, восстановленной в «Маленьком солдате»: «Эта слабость детского, человеческого сердца, таящая за собой постоянное неизменное чувство, связывающее людей в единое родство, — эта слабость означала силу ребенка»... И в повести «Джан», кончавшейся ранее несколько пессимистично — после героических усилий коммуниста Чагатаева народ «Джан», выведенный им из теснин горя, все же разбрехался вновь — теперь появилось иное звучание: «Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; иначе что́ им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узнать рассеяние своей грусти и утешиться, где незаметно умереть... Питаясь лишь воображением самого себя, человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии».

Но растущее воздействие гуманистических формул Платонова усиливается не только благодаря их количественному приумножению. Еще важнее удивительная созвучность жизненных путей, «душевных биографий» платоновских героев современным раздумьям о прекрасной, желаемой часто сущности человека.

Совсем недавно один педагог раздумывал о сложном процессе воспитания: «К сожалению, приходится отметить, что нередко происходят своего рода утечки ранней детской одаренности. Малыш, блиставший живостью ума, свежестью восприятия, довольно часто вырастает в весьма заурядного взрослого».

Всматриваясь в страстные искания платоновского красноармейца Никиты Фирсова, чья душа, как река Потудань, долго словно таилась и холодела подо льдом («Река Потудань»), в просветляющий вывод Иванова, долго чувствовавшего «другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса» и лишь при виде бегущих за ним детей «внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем» («Возвращение»), наконец, сочувствуя Фро, обзывающей себя же мешанкой за бестолковость в понимании проектов мужа-технократа («Фро»), мы вновь ощущаем, как Платонов, искавший выхода в счастье для человека, приходит нам на помощь.

Где этот выход? Как пересоздать мир и самого себя, чтобы не пропадала бесплодно впустую, не истощалась среди суеты, раздражения священная энергия многих юных душ? Не иссыхали, как

речки в пустыне, благородные стремления сердца? Пушкинский вопрос перед неразгаданной загадкой жизни, ее целью —

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана? —

все платоновские герои переосмысливали многократно. Да, можно действительно растратить, распылить жизнь, талант, и тогда она действительно предстанет как «дар напрасный, дар случайный»... Можно дать увлечь себя мнимо достойными целями. Трагедия пропавшей силы, потерянных поколений повторяется еще — одна из мрачайших для Платонова. Его вера в возможности найти такие великие цели, выработать гуманистические связи с людьми, с поколениями ушедшими и грядущими, вера в то, что жизнь может стать даром вовсе не напрасным, а оправданным, закономерным, — это бесценное достояние нашего времени.

Андрей Платонов — «очарованный странник» в литературе, верящий в ее способность одухотворить мир, внести в него то, чем извечно «голодно» человечество — теплоту единения и братства людей, — успел написать не столь много. Правда, часть его наследия — и прежде всего драматургия — ждет публикаций, ждет читателя и зрителя. Но он не знал горения вполнакала, не терпел пустых приготовлений к «изречению мысли», той рекламной барабанной словесной дробью, с помощью которой иные писатели готовят читателя, как к кульминационному цирковому номеру, к восприятию, увы, часто пустоватой мысли.

Все в его творчестве оплачено высшей ценой — истраченного на каждую строку вещества жизни, собственного существования. О многом, созданном этим художником, о его героях и о мире, их окружающем, суровом и напрягающем парус мечты, можно с благодарностью сказать словами горячо любимой им А. Ахматовой:

О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал —
истратил слишком много.

* * *

Глубокой осенью 1941 года, когда улицы Москвы покрылись баррикадами, противотанковыми «ежами», а мимо заложённых мешками с песком витрин проезжали броневики, грузовики с войсками, Платонов эвакуировался из осажденной Москвы в Уфу. Суровое, нахмуренное лицо Москвы, города-солдата, московские вокзалы в день 16 октября 1941 года, заполненные десятками тысяч москвичей, — все это потрясло душу и сердце художника, весь нравственный фундамент его личности. «Немцы хотят убить «синюю птицу»

человечества», — запишет он позднее свои первые впечатления от войны, от трудной дороги эвакуации.

В Уфе — городе, буквально распираемом в те месяцы потоками приезжих, вывезенных из Москвы и Киева, Ленинграда заводов и вузов, эшелонами раненых и эвакуированных детских садов, — Платонов увидел, что река гнева и горя народа не ушла бесплодно в песок, не изошла вдовьями и сиротскими слезами. Беседуя о чуткими и добрыми людьми, приютившими его, платоновскую семью, обычную семью «подселенцев», встречаясь с ранеными в госпиталях, получая скудный обед в столовой: мука с водой на первое, кашасечка на второе, — писатель видел, как зреет грозная, карающая сила отпора. Герой его первого военного рассказа «Броня», созданного в Уфе, моряк Семен Саввинов создает несокрушимую броню... «Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека», — добавил автор как бы от себя.

В Уфе же в 1942 году вышла и первая книга Платонова военных лет «Под небесами Родины». Она была набрана в уфимской типографии с характерным названием «Октябрьский натиск» и открывалась рассказом «Крестьянин Ягафар». С глубоким уважением и любовью к башкирской земле, к национальной культуре и особенно трудовым традициям народа рисует Платонов старого Ягафара. Он из тех простых людей, в которых идеи о жизни, добре и зле, великое чувство неостановимости жизни живут как искры в кремне во всем их существе. И жизненно-философские формулы Платонова — обдумывать и постигать их — огромная радость для читателя! — обретают в этом рассказе прочную опору, «землю» в характере старого Ягафара.

«Всемирной войны Бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну... Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более скупое берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю», — этот поток чувств и героя и самого писателя говорит о чудесном даре Платонова: даре разуменья других сердец, неторопливого «сложения» мысли, как песни, из трудового опыта, традиции, сказки, которая извечно жила в башкирских степях, под кровом даже самой бедной семьи. Зло вышло наружу — «теперь настала пора уничтожить его вблизи, чтобы люди больше не боялись жить на свете»... Это нравственно-философское решение героя — голос и мысль самой земли, оскорбленной фашистским нашествием, терявшей в те дни лучших сыновей на оплавленной, огненной черте фронта.

В 1942 году Платонов, ставший корреспондентом «Красной Звезды», выехал из Башкирии. Но память о земле, где живут чудесные труженики, которые «не изжили в себе веру в чудеса» (М. Карим «Долгое-долгое детство»), жизнь которых «чуть-чуть выше нашей каждодневной жизни», не умерла в нем. Платонов с искренним увлечением обработал — точнее, пересказал — около двух десятков башкирских народных сказок.

Возник чудесный и поэтический мир! Здесь сирота-лиса, приходя в дом к другим зверям, говорит платоновским, «однократным» словом:

— Я одинокая сирота. Возьмите меня в свою семью.

Здесь те же звери, задумав поймать вора, съевшего батман их общего масла (по Платонову воровство и есть следствие задушенности, «ожирение» души!), разводят костер:

— ..Рассядемся вокруг него. У того, кто съел масло, от жара масло растопится и потечет наружу...

Платонова увлекала стихия наглядности добрых и хитровато-наивных душевных движений, жившая в сказках. Здесь народная совесть вершила свой суд над злом, «спасала» добрые души и карала злые сердца. В лесах, водах, степях были, согласно сюжетам сказок, свои «хозяева», но всех их создал главный хозяин и радатель этой земли — сам народ...

В. Чалмаев

РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Шло жаркое, сухое лето 1921 года, проходила моя юность. В зимнее время я учился в политехникуме на электротехническом отделении, летом же работал на практике, в машинном зале городской электрической станции. От работы я сильно уставал, потому что никакого силового резерва на станции не было, а единственный турбогенератор шел без остановки уже второй год — день и ночь, и поэтому за машиной приходилось ухаживать столь точно, нежно и внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни. Вечером, минуя гуляющую по летним улицам молодежь, я возвращался домой уже дремлющим человеком. Мать мне давала вареную картошку, я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина мне оставалось мало одежды и сразу можно было бы лечь спать.

Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет, меня разбудила мать.

Председатель губисполкома Иван Миронович Чуняев прислал ко мне со сторожем записку, в которой просил, чтобы я нынче же явился к нему на квартиру. Чуняев был раньше кочегаром на паровозе, он работал вместе с моим отцом и по отцу знал меня.

В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила задача борьбы с разрухой, и он, боясь за весь народ, тяжело переживал мутную жару того сухого лета, когда с неба не упало ни одной капли живой влаги, но зато во всей природе пахло тленом и прахом, будто уже была отверз-

та голодная могила для народа. Даже цветы в тот год пахли не более чем металлические стружки, и глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета.

— Ты скажи мне, ты не знаешь — что такое электричество? — спросил меня Чуняев. — Радуга, что ли?

— Молния, — сказал я.

— Ах, молния! — произнес Чуняев. — Вон что! Гроза и ливень... Ну пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна, это правильно... Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб — враз и жарко! На вот, прочти, что люди мне пишут.

Чуняев подал мне со стола отношение на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовки сообщали:

«Председателю Губисполкома т. Чуняеву и всему президиуму. — Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки — среди такой всемирной бедной скуки. Стоит как башня наша власть науки, а прочий вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умною рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста и рук ему никто не отведет. Напротив — он всю землю чисто в научное давление возьмет... Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках бедняки, минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски. У нас машина уже гремит — свет электричества от ней горит, но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машина ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой родилась, ей псих мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое.

— За председателя совета (он выбыл в краткий срок на контратаку против всех бандитов-паразитов и ранее победы не вернется ко двору) — делопроизводитель Степан Жаренов».

Делопроизводитель Жаренов был, очевидно, поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Верчовки. Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства, — свет челове-

ка на задохнувшейся умершей земле, мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что лишь зажегшую свет в дальних соломенных избушках.

— Ступай туда,— сказал мне Чуняев,— и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился. С городской электрической станцией мы сговоримся, тебя оттуда отпустят...

На другой день я с утра отправился в деревню Верчовку; мать сварила мне картошек, положила в сумку соли и немного хлеба, и я пошел на юг по проселкам и шел три дня, потому что карты у меня не было, а Верчовок оказалось три — Верхняя, Старая и Малобедная Верчовка. Но делопроизводитель Жаренов думал, конечно, что их знаменитая Верчовка только одна на свете и она известна всему миру, как Москва, поэтому Жаренов и не прибавлял к своей деревне добавочного названия, а жареновская Верчовка оказалась именно Малобедной, чтоб можно было отличить ее от прочих Верчовок.

Обойдя обе Верчовки, где не было электрических станций, к Малобедной Верчовке я подошел за полдень третьего дня пути... На виду деревни я остановился, потому что заметил большую пыль в стороне от дороги и рассмотрел там толпу народа, шествующую по сухой лысой земле. Я подождал, пока народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек двадцать богомольцев. Здешняя местность имела покатошь в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей.

Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к дороге.

Впереди шел обросший седою шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения, встречающиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота.

Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые, запляканные женщины. Двое детей — мальчик и девочка, — в одних рубашках и босые, шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над нею, а богомольные женщины расселись в тени и занялись там своим делом.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни, — это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал тайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старушка, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, во взгляде был зоркий ум, прошедший такие испытания жизни, что старуш-

ка, наверно, знала про себя не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Я спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверное, что нету,— правда твоя!

— А начто вы тогда креститесь?— спросил я ее далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу-то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: бог — беда наша... Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос...

Я помолчал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разумал — произнесла старуха с ясным сознанием.— Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха покорно сняла платок с головы, и я увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые развалиться и предать безвозвратному праху земли скупко скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь,— сказала старуха,— и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду оплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков... Разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека,— и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить-то нечем уж!

Я отошел прочь от старухи, наполненный скорбью и размышлением. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, напра-

вился назад в деревню. Осталась лишь одна старуха, говорившая со мною.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских маленьких ногах, когда народ пошел спешно, по-деловому и сам поп уже шагал в штанах.

Увидев ее состояние, я поднял старуху к себе на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, создавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы.

В деревне у одной попутной избушки старушка сошла с моих рук. Я попрощался с нею, поцеловал ее в лицо и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух.

Верровка оказалась небольшой деревней,— дворов не более тридцати, но исправных изб в ней было мало; жилища обветшали и уже загнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал все видимое, все добытое, устроенное и сбереженное поколениями тружеников похожим на погост.

Мальчик, чей-нибудь внук или племянник, а может быть, сирота, с охотой провел меня на электрическую станцию, работавшую в полверсте от деревни — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл фирмы «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо-машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности работы. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил сигарку; тут же находился высокий столб, и на нем горела электрическая лампа, освещающая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадьми, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, с удовольствием наблюдавшие за действием быстроходной машины; некоторые из них, худые по виду, выражали открытую радость; они подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь при том с такой гордостью, точно они принимали участие в этом предприятии, хотя сами были нездешние.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружавшую его действительность: он вдумчиво и проникновенно вообра-

жал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу.

Я громко спросил у механика, зачем он работает сейчас впустую, ради одной лампочки на столбе, и зря тратит топливо и машину.

— Не зря,— равнодушно сказал механик; он вышел из прицепа и попробовал ладонью подшипник у динамомашинны — около большого самодельного деревянного шкива, которым она вращалась. — Не зря,— сообщил механик.— Мы работаем вечером, а сейчас мы только пытаем машину и крутим ее впрок, чтоб все части у нее пригартовались и привыкли друг к другу. И перед проедем народом нам надо похвастаться — это, стало быть, будет агитация. Пусть люди любуются!

В словах механика об опытной работе установки было дельное соображение, потому что мотоциклетный мотор был старой машиной, пережившей дороги войны, и некоторые заводские части, наверно, в нем заменили деталями, сделанными в местной кузнице от руки, и нужно было эти части испытать и дать им приработаться.

Я молча изучил устройство электростанции, не обращаясь более к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла я прочел номер машины: Е-0-401, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть «77 британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером, должно быть, торжественно сияли окна деревенских избышек, охраняя от тьмы революцию.

Механик подошел ко мне и протянул кисет с табаком.

— Покури, лучше будет,— сказал он мне.— Что смотришь? Наверно, на молотилке работал, и думаешь, что в моторах понимаешь?

— На молотилке мне работать не приходилось,— ответил я и сам спросил деревенского машиниста:— Чем топите машину?

— Хлебным спиртом, чем же,— вздохнув, сказал механик.— Гоним самогон особой крепости, тем и светим.

— А смазка?— интересовался я далее.

— Чем придется,— ответил человек.— Что съешь, профильтруешь через тряпку, тем и смазываешь.

— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине,— сказал я,— не стоило бы!

— Хлеба жалко,— согласился механик.— А что делаешь: другого газа нету.

— А чей хлеб это вы на газ переводите?

— Народа, чей же, общества,— пояснил машинист.— Собрали фонд по самообложению, а теперь берем из фонда и еще кой откуда...

Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют хлеб прошлогоднего урожая в машину, когда в нынешнее лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты народа нашего не знаешь,— медленно говорил механик, все время вслушиваясь в работу машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у коновязи.— Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не надо!.. У нас в Верховке богатая библиотека от помещика осталась, крестьяне теперь читают книги по вечерам,— кто вслух, кто про себя, кто чтению учится... А мы им свет даем в избы, вот у нас и получается свет и чтение. Пока другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение.

— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще лучше,— советовал я.— Тогда у вас получились бы хлеб, свет и чтение.

Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо улыбнулся.

— Ты не жалея этого хлеба: он все равно мертвый, не едоцкий... Тут кулак у нас жил, Чуев Ванька,— он с белыми всем семейством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле. Так мы его хлеб с товарищем Жареновым целый год искали, а когда нашли, так зерно уже задохнулось и умерло: на еду оно тухлое, на семена вовсе не гоже, а на спирт, на вредную химию эту оно пойдет. А ведь там, сколько ж было, да пудов без малого четыреста! А фонд по самообложению и взаимопомощи мы еще не трогали: как был, так есть — двадцать пудов. Наш председатель оттуда крошки тебе не подарит, пока и вправду с голода не опухнешь. Да ведь иначе и нельзя, а то...

И здесь механик прервал свою речь и бросился к электрической станции, потому что ремень соскочил со шкива динамо-машины.

Я же направился к деревне Верчовке. На околице деревни сильно и безостановочно дымила печная труба, и я пошел в ту избу, которая столь жарко топилась в летний день. Изба, судя по двору и воротам, была выморочная или бесхозная. Ворота заросли, на дворе поселился жесткий зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры, и ливневые потоки, и выживающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был вделан самогонный аппарат. Печь топилась корневищами, а у исходной трубки аппарата сидел на табуретке веселый, блаженный старик, освещенный пламенем, с кружкой в правой руке и с куском посоленной картошки в левой: старик, должно быть, ожидал очередного выхода безумной жидкости, чтобы попробовать ее — годится ли она для горения в машине или слаба еще. Собственный желудок и кишки старика-дегустатора были прибором для испытания горючего.

Я вышел во двор избы, чтобы увидеть электрическую линию, потому что на улице ее не было. Линия шла через дворы; крюки изоляторов были укреплены в стенах надворных построек, в редких ветлах или просто были завинчены в большие, нарощенные один на другой колья плетней, и оттуда уже шли местные ответвления проводов в жилые горницы и дворовые службы. В этой местности, лишенной леса, нельзя было найти столбов для устройства обычной уличной сети. И с хозяйственной, а также с технической точки зрения подобное решение вопроса электропередачи было единственно возможное и правильное.

Однако, опасаясь пожара от неправильной проводки воздушной линии, я пошел по дворам, перелезая через плетни и слеги, огораживающие соседские владения, и всюду осмотрел снаружи подвеску и крепление магистральных проводов. Натяжка линии была хорошая, и провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ, способных затлеть от нагревания их токонесущей медью.

Успокоившись насчет пожара, я нашел прохладное укромное местечко в тени одного овина и уснул там для отдыха.

Но, еще не отдохнув как следует, я вынужден был

проснуться, потому что меня кто-то толкал ногою и будил.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать!— произнес неизвестный человек надо мною.

Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Ко мне наклонился человек с добрым лицом,— морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал меня рифмованным слогом, как брата в светлой жизни. По этому признаку я догадался, что предо мною был делопроизводитель местного сельсовета, писавший отношение в губисполком.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна.

Но у меня тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, я сказал делопроизводителю про мотоциклетную электростанцию и про то, что необходимо достать где-либо насос.

— Мне ветер мысли все разнес,— ответил делопроизводитель,— и думать здесь я не могу про... А дальше как?— спросил он вдруг у меня.

— Про твой насос!— добавил я ему на помощь.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу,— продолжал делопроизводитель во вдохновении сердца,— ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы, и чем болит твоя душа...

В сельсовете я с точностью изложил делопроизводителю деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул делопроизводитель.— В ответ гремит тебе отсюда,— он показал на грудь,— сердце боевое!

Я спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Делопроизводитель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?..— сбился вдруг он.— Семействам больраненых красноар-

мейцев! — сказал добавочно делопроизводитель. — В ней сорок десятин. Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье и злак растет, как дым зимой из труб. Ну, а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Я сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для поливания водою сорока десятин, но все же решил полить хоть часть этой наиболее бедняцкой земли — вдовьей и красноармейской.

Делопроизводитель, услышав такое мое предложение, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств, — сказал он немного погодя.

В течение двух последующих дней делопроизводитель, механик мотоциклетной электростанции и я трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Язвенной, которая слабо текла куда-то в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки картофеля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя, уже мертвое теперь.

В этих же посевах с терпением росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выражением сумасшествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия сухих стихий.

Я пробовал почву; она была как зола, сгоревшая на солнце, и первый же ураган способен был поднять всю пыль плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла мы с делопроизводителем задумались о насосе. Мы поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабивших помещиков с наибольшим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

Подумав, я снял толстую железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу делопроизводителя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса, трубы для всасывания и лотков для подачи воды на поле.

Еще трое суток мы с механиком электростанции поработали у мотоцикла, пока не посадили семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядили то колесо в кожух. Таким образом мы соорудили центробежный насос из колеса мотоцикла, мы организовали водокачку вместо электрической станции; однако насос ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда без нужных инструментов, материалов, среди полевого неустройства, я и механик пустили мотор мотоцикла, и вода пошла на землю вдов и красноармейцев; но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и необходимо было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения. Кроме того, некоторое количество воды терялось из неплотных соединений наших самодельных лотков, что дополнительно нас огорчало. Однако делопроизводитель не огорчился на это и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день делопроизводитель и двадцать женщин с четырьмя пожилыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату в глубь полей, но ручей воды иссох уже невдалеке от водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди,— они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут.

Вдовы и замужние беднячки окружили нас и начали ругать за недостаток воды и за бедную силу машины. Мы выслушали их со стыдом, но без боязни, а делопроизводитель произнес им в утешение заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо оди-

чалого лета и говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительной страшной природы:

— Все сохнет, лопается прочь,— и почва, и трава!.. А жить охота во всю мочь, поскольку есть у человека голова...

Делопроизводитель Степан Жаренов устал от жары и страдания; но лицо его стало теперь иным,— ясным и задумчивым, хотя и не потеряло доброты своих складок. И он сказал прозой бабам-вдовам, смотревшим на него с удивлением и улыбкой сочувствия:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород...

Механик, размышляя, наблюдал напряженную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжело пыхла от перегрузки. Я ощупал все тело машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но плохое смазочное масло не держалось в трущихся частях и не обволакивало их облегчающей нежной пленкой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Я понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса, служившего центробежным насосом, убавили число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надели кожух. Я хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все ушли на отдых, только товарищ Жаренов и я остались сидеть на берегу высыхающей реки. Я не спешил снова запускать мотор, я хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в раскаленном свирепом пространстве, а внизу на земле осталась тьма и озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Вскоре к делопроизводителю пришли его дети — мальчик и девочка,— те самые, которых я видел в крестном ходе. Они потемнели от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе с ним в страш-

ной душной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда делопроизводитель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их громадными руками, приблизил к своему теплomu животу, и все трое заснули на ночной земле. Наверно, у этих детей мать была умершая, и они жили сиротами около своего отца.

Я догадался, что мне надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в бачок с водой и обмотать фитилем цилиндры мотора, — тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Я нашел паклю в прицепной коляске — в ящике механика, и к полночи совершил работу до конца. Затем я подошел к спящему семейству Степана Жаренова и не знал, что делать — качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Я сел в раздумье около реки, тихо влекущейся вдаль, и поглядел в звездное скопление на небе, на это будущее поприще деятельности человечества — в бессмертную сосущую пустоту, наполненную топким тревожным веществом, бьющимся в ритме своей неизвестной судьбы, — и стал думать об электричестве, что всегда доставляло мне удовольствие.

Вскоре мне пришлось обернуться к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и опять стало тихо. Делопроизводитель проснулся, поднял голову — и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, я пустил мотор. В черные уголья пошел толстый поток воды из устья нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и не пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовольствием наблюдал спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идет,

оно проходит не напрасно: машина надежно качает воду в сухие поля бедняков.

Я смерил ведром подачу воды в минуту времени — оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. Я наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем скудном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец лежал со счастливым, обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского, бедного человечества.

Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выпавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь,— сказала старушка,— идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит... Все для вас, чертей, кофей этот варил...

Я равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал со своей посудой у отводящей трубки котла, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опороженной кружкой и картошкой в руках, котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя окопными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опоминается, а завтра начнется ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите?— спросил я у старушки.— Эта авария, а мы здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь,— ответила бранившаяся старушка,

Я вынул записную книжку и написал там: «пришли из города старушке пшена».

Старуха только увидя, что я что-то записываю, сразу поверила мне и утешилась.

Я сказал механику устную инструкцию об уходе за мотором и насосом, постоял немного возле спящего на земле делопроизводителя Жаренова и его детей, а затем пошел пешком по теплой ночи к себе домой, к своей матери. Я шел один в темном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была выполнена.

1926

ПЕСЧАНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

I

Двадцатилетняя Мария Нарышкина родом из глухого заброшенного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами.

Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел.

Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу.

Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном иступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзией.

Шестнадцати лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца. И Мария Никифоровна стала курсисткой.

Прошло четыре года — самых неопикуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучащие его трево-

ги; никто не поддержит тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясением роста. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной,

Была, конечно, у Марии, и любовь и жажда самоубийства,— эта горькая влага орнаует всякую растущую жизнь.

Но все минуло. Настал конец ученья. Собрали девушек в зал, вышел завгубоно и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно созная речь. В их годы человек шумит внутри, и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами.

Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район — село Хошутово; на границе с мертвой среднеазиатской пустыней.

II

Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу — Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безликих песков на пути в Хошутово.

В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт.

Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лёссовой пыли и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня, при безоблачном небе, нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью.

Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни.

К вечеру буря кончилась. Пустыня приняла прежний вид: безбрежное море дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизни.

В Хошутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру.

Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник — шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много труда и ума.

Хошутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего белого песка, надутого с плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов.

Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд,— потому что расчищенные места снова заваливались песком,— молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-нибудь чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли.

Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья.

III

Оборудовав кое-как школу, выписав необходимое из округа, Мария Никифоровна через два месяца начала ученье.

Ребята ходили неисправно. Придут то пять человек, то все двадцать.

Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким, жалящим песком, захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты.

Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу, и дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам.

К новому году из двадцати учеников двое умерли, и их закопали в песчаные зыбкие могилы.

Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной начала теряться и потухать.

Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно: нельзя учить голодных и больных детей.

Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела.

И Мария Никифоровна догадалась: в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю.

Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное.

Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ.

В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело. А за помощью следует обращаться к участковому агроному.

Мария Никифоровна рассмеялась:

— Агроном жил где-то за полтора ста верст и никогда не бывал в Хошутове.

Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания.

IV

Прошло два года. С большим трудом, к концу первого лета, удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы — месяц весной и месяц осенью.

И уже через год Хошутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов, длинными лентами окружали Хошутово со стороны ветров пустыни и зауютли неприветливые усадьбы.

Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной борьбе с пустыней.

У нее было много друзей в селе, особенно двое — Никита Гавкин и Ермолай Кобозев, — настоящие пророки новой веры в пустыне.

Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные меж полосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожаи, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растение от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили немного урожай трав, а сосна — дерево попрочней.

Хошутово издавна страдало от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными кизяками и коровьими лепешками. Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям прут, из которого они научились делать корзины, ящички, а особо искусные — даже стулья, столы и прочную мебель. Это дало деревне в первую зиму две тысячи рублей приработка.

Поселенцы в Хошутове стали жить спокойнее и сытнее, а пустыня по малости зеленела и становилась приветливой.

Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи.

Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом.

V

На третий год жизни Марии Никифоровны в Хошутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда.

В Хошутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами: через каждые пятнадцать лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти пятнадцать лет хошутовская степь паровала, и вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя.

Но кочевники почему-то запоздали: они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность.

— Все равно придут,— говорили старики.— Беда будет.

Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла — птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север к естественным водоемам. 25 августа в Хошутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постукивая в ставни:

— Кочуи прискакали!..

Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте: то скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада.

Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны — все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала: кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто.

Хошутово замерло, поселенцы лепились друг к другу и молчали.

Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников.

Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал:

— Травы мало, людей и скота много: нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается.

— Все равно вы негодяй!— сказала Нарышкина.— Мы работали три года, а вы stravили посадки в трое суток. Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить...

— Степь наша, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву родины, тот не преступник.

Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом.

В округе ее выслушал завокроно и ответил:

— Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хошутове обойдутся и без вас,

— Это как же?— изумилась Мария Никифоровна и нечаянно подумала об умном вожде кочевников, не сравнимом с этим начальником.

— А так: население уже обучилось бороться с песками и, когда уйдут кочевники, начнет шелюгу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту?

— Что это за Сафута?— спросила Мария Никифоровна.

— Сафута — тоже село, — ответил завокроно, — только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на оседлость. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали, а мы боимся вот чего — пески растопчутся, двинутся на Сафуту, население обеднеет и снова станет кочевать...

— А при чем тут я?— спросила Нарышкина.— Что я вам укротительница кочевников, что ли?

— Послушайте меня, Мария Никифоровна, — сказал заведующий и встал перед ней.— Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Вы понимаете меня теперь, Мария Никифоровна?.. Посадки же русских поселенцев истреблялись бы все реже и реже... Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту: глушь, даль — все отказываются. Как вы на это смотрите, Мария Никифоровна!..

Мария Никифоровна задумалась:

— Неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелюговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славой жизни?..

А где же ее муж и спутник?..

Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племен пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно:

— Ладно. Я согласна... Постараюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы — дожидайтесь!

Завокроно в удивленье подошел к ней.

— Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад, мне жалко как-то вас и почему-то стыдно... Но пустыня — будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благодарны, когда в пустыне вырастет дерево... Желаю вам всякого благополучия.

1927

ТАКЫР

I

Давно в ночное время сорок или больше всадников сходили мирным шагом в долине Фирюзы, по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья — меж Персией и равниной вольных туркменов. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце. И в ту давно минувшую ночь четырнадцать человек шли пешком рядом с линией конного отряда, связанные одной веревкой. Среди пеших было девять молодых женщин и одна маленькая девушка. Она шла без веревки и отставала от усталости. Душа пеших людей настолько утомилась, что они перестали чувствовать свое существование и шли как без дыхания. Но сорок всадников были счастливы и осторожно хранили свое удовлетворение, чтобы приехать с ним на родину, которая была еще далеко за горами, в темноте пустыни. Один же конный человек был мертвым: его убили курды в Иране, и теперь он ехал, низко склонившись, привязанный к седлу и к шее своей уцелевшей лошади, чтобы его семейство имело возможность увидеть его и заплакать.

В полночь наступил свет в долине — от луны, преодолевшей высоту гор, и речной поток от этого света стал как бы неслышным. Отряд приурочился в тень старой чинары, растущей к небу и не умирающей много веков. Конные спешили, снизили лошадей, как верблюдов, уложили рядом пленников и сами легли. На выходах из

ущелья еще могли появиться курды в погоню, несущие пограничную персидскую службу, еще стояли на ближних горах сторожевые башни, сложенные из берегового камня и глины. В этих башнях раньше селились обыкновенно дежурные солдаты персидских аулов и базаров, чтобы стеречь дорогу от туркменских аламанов и заранее известить об опасности в Персии посредством дыма из внутренних очагов — по всей очереди башен в глубину своей родины. Самым же опасным был русский пограничный разъезд, пост которого отряд миновал вчерашнюю ночь кругом по горам. Туркмены знали про то и держали ружья близ груди, чтобы убить всякого показавшегося врага. Это было позднее время последних аламанов.

Вскоре персидские пленники уснули, и горе в них прекратилось от потери сознания. Лишь в одной маленькой женщине, по имени Заррин-Тадж, ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувствовала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Хорасана, откуда ее увели. Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока, — она думала тогда, что это, наверное, из Ирана в Туран уезжает поезд, который Заррин-Тадж видела однажды в детстве и запомнила, как гудит его бегущий дым. Туркмены, усталые от набега и бедствий пустынной жизни, закрывали по одному глазу, чтобы дремать и видеть наполовину; лежащие лошади вытянули морды вровень с землей и громко дышали, не трогая близкой травы. Заррин поднялась с места. Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях — всегда и вечно, во тьме и в свете, как работает раб в туркменской равнине или неостывающий самовар в чайхане. Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь: семь братьев и одна сестра. Нужно было целое племя людей, чтобы обнять это дерево вокруг, и кора его, изболевшая, изъеденная звсрями, обхватанная руками умиравших, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид, как земляная почва. Заррин-Тадж села на один из корней чинары, который уходил вглубь, точно хищная рука, и заметила

еще, что на высоте ствола росли камни. Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить. «Она тоже рабыня, как я! — подумала персиянка про чинару.— Она держит камень, как я свое сердце и своего ребенка. Пусть горе мое вращет в меня, чтоб я его не чувствовала». Заррин-Тадж заплакала. Она была беременна второй месяц от курда-пастуха, потому что ей надо было любить хотя бы одного человека. Ближний туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет быть женой, если умеет плакать, и смиренно умрет под яшмаком в Туркменистане.

Луна скрылась за черные горы, стало опять глухо, ветер шел тенью по лицу Заррин-Тадж. Она легла на землю среди всех...

«Гель-Эндам давно увели эрсари,— шептала персиянка себе в сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться,— Фатьма утонула в Дарье, а милая, лучшая моя Ханом-Ага, я слышала, живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рождает детей. Я тоже буду с ними».

Персиянка уснула, успокоившись воспоминанием о подругах, которые так же прошли когда-то через это прохладное травяное ущелье и не умерли.

Наутро верховые туркмены вывели пленников из гор Копет-Дага; тогда некоторые курдские и персидские женщины, как только увидели чужую пустыню и странное небо, с другим светом, чем на родине, заплакали от наступившей печали. Но Заррин-Тадж не плакала. Выросшая в нагорной хоранской роще, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут.

Туркмены переждали день во впадине горного подножия. Они считались с курдами, которые иногда идут в преследование через русскую границу до самых открытых песков, и не хотели растратить победу на краю родины.

Всю другую ночь и еще полдня туркмены гнали пленников в даль своих мертвых песков. Потом отдыхали и ночевали в глиняной курганче аула, обнимали пленных девушек и снова шли дальше. Вскоре Заррин-Тадж узна-

ла своего мужа и хозяина Атах-бабу, туркмена из племени текэ, человека более сорока лет. Он имел бороду и всегда одинаковые темные глаза, не устающие и не счастливые. Атах-баба изредка звал к себе Заррин-Тадж и отставал от всех, чтобы жить с нею на песке. Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе: у него тоже была небольшая, разнообразная жизнь. Вблизи стояла в ожидании лошадь Атах-бабы и рассматривала обоих людей. Во время любви, раскинув свои руки, Заррин-Тадж пересыпала ими песок, наблюдала высоту над собою и думала постороннее. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу»,— молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-бабы и его бороды.

II

На двенадцатую ночь после родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган. Здесь жило несколько семейств из рода Канджин, племени текэ. Атах-бабу встретили четыре его жены и обрадовались ему лишь одним выражением своих лиц, а к Заррин-Тадж отнеслись без внимания. Атах отвел персиянку в кибитку и велел ее кормить и класть спать в семействе. Сам Атах отправился отдать убитого в аламани родственника, уже истлевшего в пути, отчего лошадь его, надышавшись трупом, мало пила воды на водопоях.

Заррин-Тадж села на полу кибитки в недоумении перед чужбиной. На родине она с шести лет собирала хворост и отсохшие сучья в горных рощах Хорасана для своего господина, у которого жила за пищу, два раза в день. Там жизнь была привычна, и годы юности проходили без памяти и следа, потому что тоска труда стала однообразна и сердце к ней притерпелось. Лучшее время — то, которое быстро уходит, где дни не успевают оставлять своей беды.

Одна старая жена Атах-бабы спросила у персиянки по-курдски, какого она рода и в чьей кибитке родилась.

— Я не знаю, когда рожалась,— сказала Заррин-Тадж.— Я уже давно была.

Она действительно не помнила отца и матери и не за-

метила, когда произошла жите: она думала, что так было вечно.

Вдруг слышался плач и шум озлобления. Три босых и жалобных женщины вошли в кибитку и сели вокруг персиянки на поджатых ногах. Сначала они непонятно, грустно заговорили, а потом подползли к Заррин-Тадж, обхватили ее и стали царапать ногтями по лицу ее и худому телу. Персиянка сжалась и стала маленькой для своей защиты, но втайне она замечала, что злоба женщин бедна силой, и терпела боль без испуга. Пришедший назад Атах-баба постоял немного в молчании, а потом сказал: «Этого довольно, она молода, а вы старые дырки!» — и выгнал чужих женщин прочь.

Они ушли и снаружи опять заплакали по убитому мужу.

Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей, и когда все уснуло и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья, за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине, — может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его.

Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалея ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой?

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви.

III

Заррин-Тадж стала жить кочевницей. Она доила верблюдицу и коз, считала овец и доставала воду из колодцев на такыре — по сто и по двести бурдюков в день. Больше она никогда не видела птиц и забыла, как шумит ветер в древесных листьях. Но время молодости идет медленно. Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрестанно готовое к счастью.

Когда овцы начинали худеть илидохнуть от бестравья, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдье, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и умные мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком, унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей, и еду в горшках.

Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, быть может, в синих, смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Аму-Дарьи. Но часто нужно было проходить долгие такыры—самую нищую, глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли и легкие ветви, и ветер взял их с собою.

Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел, занесенный песком саксаул.

С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.

Иногда она ложилась от утомления среди такыра, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца. «Вот и все!» — шептала Заррин-Тадж, то есть вот вся ее жизнь, и чувствуется в умс, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.

Она пробовала свое тело руками. Кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.

Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останется у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.

Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такыра текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такою грустью, что будто он остался на свете круглой сиротою и теперь заболел печалью.

Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ребенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибитку продувало из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму: он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглухшие ночи, Атах-баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит весенних птиц в зеленые, влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо: почти про себя. Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в сновидении. Она выздоровела. Однако Атах-баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.

Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.

Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повязку за спиной и, склонившись, стала доить коз, собирать на топливо ишачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами,

потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.

Джумаль долго лежала за спиной у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. «Это я!» — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих костей. Но еще долго Джумаль не отходила от матери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.

Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.

IV

Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдали, и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.

Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.

— Кто они? — спросила Джумаль.

— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.

Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля

повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.

— Тебе хорошо там было, на реке и на горе? — спросила Джумаль.

— Нет, я там мучилась, — сказала Заррин-Тадж.

— А зачем думаешь, что хорошо?

— Я не думаю, мне кажется, — ответила Заррин-Тадж.

Маленькая Джумаль озадачилась: она взяла мать за палец и посоветовала ей:

— Тебе кажется... А ты люби меня одну, вот тебе и будет хорошо! А горы и реки — не надо.

При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье.

В низкой былинке травы, сухой и жесткой, как жестяная стружка, заключалось все, чем питались верблюды и овцы. Ослы помнили, вероятно, другую еду в забытом мире и часто кричали в своей нужде по ней.

По кочевым дорогам Джумаль ехала на самом маленьком ишаке. Пустыня шла мимо ее опущенных ног, она глядела на громадную голову осла, больше, чем у лошади, на его уши, в которые попадает ветер, и думала, что осел — этот остаток великана, но стал маленьким от горя, работы и редкой еды.

V

Когда прошло долгое время и Джумаль стала двенадцатилетней девушкой, она стала полной и хорошей. Лицо ее покрылось красотой, точно на нем выступили любовь и страсть ее неизвестного отца к Заррин-Тадж. Ничто — ни нищета рабыни, ни уныние — не помешало Джумаль стать ясной, взрослой и чистой. И пища ее, как она ни была бедна и однообразна по виду, она была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было

нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри нее постоянно горел свет. Мыться ей было негде — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжело от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением.

Однажды Атах-баба довел кибитки до угрюмого места, где лежала на целый день пути одна темная глина, и велел остановиться. Такого печального такыра ни Джумаль, ни Заррин-Тадж еще не видели. Поэтому, вероятно, здесь давно никто не селился, и у края такыра ютилась добрая трава, прячась от жары и гибели в песок. К своей середине такыр понижался, и там, в глинистой тьме, стояла ветхая каменная башня. В той башне Атах-баба разместил свою семью. Заррин-Тадж и все другие женщины кочующего рода стали расчищать колодец, бывший вблизи древней башни. Никто не знал, чья эта башня и что в ней делали в старое время — молились или убивали. Нижняя наружная стена башни была украшена голубыми изразцами, а маленький купол был покрыт плитами синего цвета, и золотая змея лежала нарисованной на этих плитах.

Джумаль вместе со всеми матерями работала на колодце: она относила влажный песок в отдаление и находила в нем чьи-то кости. На краю песков слабо виднелись небольшие горы, — уснувшие тучи до зимы лежали на них, — а в другую сторону, говорил Атах-баба, были Аму-Дарья и богатая Хива. Ночью Джумаль лежала около стены в нижнем помещении башни. Она слышала, как шевелятся скорпионы в глинистых ущельях, следила через открытый вход за одною звездой, которая движется в сумраке, как кочевница, и понимала заунывный звук текущего песка у подножия башни. Слезы и счастье находились около ее сердца, но Джумаль дышала осторожно и с недоумением непонимания значения жизни.

Атах-баба приподнялась с кошмы и начал подкрадываться к Заррин-Тадж через других спящих жен. Джумаль подождала время, а потом позвала мать, чтоб она испугалась Атаха.

Но мать промолчала, а Атах-баба нашел ее. Джумаль повернулась лицом вниз, в шерсть своей подстилки, и озябла от горя. В это время неизвестный, темный человек сошел вниз из верхнего помещения башни и остановил-

ся среди лежавшего семейства, сделав рукою знак мира и приветствия. Джумаль подошла к нему и ответила на его приветствие. Пришедший человек был громаден и худ, лицо его глядело добрым, как у животного, и глаза, не смотря на сумрак, смотрели на маленькую Джумаль с такою печалью, точно он был мертв.

Заррин-Тадж, увидев дочь и другого человека, сказала им:

— Это наше дело на нашей кошме, а вы уйдите отсюда. — И она снова обняла своего хозяина и мужа.

Джумаль схватила руку пришедшего гостя и заплакала по матери, однако гость не мог успокоить плачущую: он бросился бежать вон по такыру в дальнюю ночь, потому что Атах-баба вскочил и погнался за ним. Джумаль, увидя это и свою жалкую мать, также побежала вслед за гостем.

Их бег звенел по такыру. Но отчаяние сильнее злобы, и безвестный гость, миновав спящие кибитки, пропал вперед, во тьму, от обессиленного Атах-бабы. Джумаль бежала следом за ними неизвестно куда; она теперь почувствовала, что ей настала пора жить одной, с нею нет никого, даже мать живет отдельно от нее — своим сердцем и своей неволей. Она легла на холодную ночную глину и умолкла от одиночества. Под нею тоже была умолкшая земля.

Атах-баба шел обратно с погони, постаревший и опухший со времени последнего персидского аламана. Он увидел Джумаль, молодую и с жалобным телом, — она выросла на его стадах и стала теперь угрюмой, от юности. Атах поднял Джумаль с земли и сжал ее небольшое, неумелое тело, унося его в глушь такыра. Джумаль впилась ногтями в горло Атах-бабы. Но если бы даже ему отрезали сейчас голову, он не оставил бы ее, поэтому он не чувствовал боли от девушки, с жадностью нюхая запах полыни и ветра в ее волосах.

На другой день Джумаль не вернулась домой. Она ушла на дальний край такыра, пела там одна, выдумывая песни, и жить больше не хотела. За такыром началась новая земля — песок был смешан с суглинком, здесь трава росла гуще, и овцы, впившись в нее, мочили землю жадными слюнями.

Вечером, когда Джумаль уснула, ее нашла мать, разбудила и повела домой, потому что Атах-баба ее продал

и уже получил половину калыма — четыреста русских рублей и шестьдесят голов разного скота. Джумаль считалась гранк, то есть она не имела чистой туркменской породы, и ценилась наравне с курдянкой.

Жених ее, пожилой Ода-Кара, сидел на ковре с Атахом и рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что делается в Гассан-Кули и по берегам Аму, что в Бухаре, говорят, опять открылся базар рабов. Ода-Кара знал многое, но он говорил, что ум его начинает путаться в бороде, потому что ему не хватает молодой жены для утешения.

Атах-баба согласился, что без утешения жить никому нельзя: пусть лучше из человека выходит плоть, чем слезы.

— Но ты, Ода, уже взял недавно жену из кибитки Курбан-Нияза, — сказал Атах. — Она тоже не стара еще, и лицо ее хорошо.

— Я взял ее, — согласился Ода-Кара, — но пусть будет теперь другая. У меня жили в семействе шесть старых жен, одна умерла, а овцы окотились, и ослицы дали приплод. Кто будет с ними справляться? Старые жены стареют, потом умирают, — надо взять двух молодых, чтоб они не скоро померли.

— Ты не дорого ценишь молодых, — сказал Атах-баба, — и калым не враз даешь.

Ода-Кара возразил:

— Нет, дорого! Я много думал: кого мне взять — трех старых, привычных старух или двух молодых? Но старые мясо не жуют и много его глотают, а молодые едят мало, но много беспокоятся. Я решил взять молодых.

Атах-баба засмеялся. Ода-Кара тоже захохотал.

— Беспокоиться будут, Ода, твои новые жены... Где у тебя, старика, любовь осталась для них?

— У меня есть две жены, которых я никогда не касался, — улыбаясь произнес Ода. — Они прожили в хозяйстве тридцать лет, и я их спрашивал: «Старухи, где же ваша любовь, куда она вышла?»

— А они тебе что? — улыбался Атах.

— А они: «Слезам и потом ушла в песок», — говорят. А я им говорю: «Нет, лучше я пойду спрошу про то у старых ишаков с кобелями».

Заррин-Тадж и Джумаль сидели спаружи башни, у входа, и слышали разговор. Постаревшая персиянка пла-

кала и прижимала к себе свою дочь. Джумаль тоже ласкалась к матери и не обижалась на нее за то, что было ночью, — ее детское сердце еще жило без памяти.

— Мама, к нам гость приходил из темноты, когда ты спала с Атахом, — сказала Джумаль. — Он на такыр убежал.

Заррин-Тадж сказала дочери, что другие женщины слышали про этого одинокого гостя из песков. Он воевал с русскими далеко, в том краю, где леса и озера. Его русские взяли в аламан, а он убежал от них в пески и теперь живет один в страхе и бегстве.

— Значит, он скоро умрет: ему ведь нечего есть! — догадалась Джумаль.

— Он бежит второй год, — сказала мать. — Он лепит горшки из глины и оставляет их на кочевых дорогах. За это ему бросают битых овец, а горшки берут. Ода говорил, что гость бывает в аулах, там он чинит самовары в чайхане, шьет чужие халаты и кормится...

Джумаль задумалась. Ее влекли таинственность жизни, пространство и далекий шум, который ей слышался несколько раз, когда она спала ухом на земле. Заррин-Тадж встала, чтобы подать новый чай гостю и мужу, но вдруг вся потемнела лицом и потеряла свою силу, не дойдя до ковра, где сидел Ода-Кара. Она непочтительно легла около гостя, и влажное бешенство смерти выступило у нее на губах. Ода-Кара вскочил и ушел в испуге, а Ата-баба пихнул жену ногой, чтоб она отвернула от него свое страшное лицо. Заррин-Тадж повернулась сама и затихла. Она чувствовала жар, который сжигает ее усталые кости и внутренности, и ей становилось легче, точно все, что так давно изболелось и утомилось в ней, потягивалось и потрескивало.

VI

Наутро кочевье было пусто. Атах-баба еще ночью велел гнать стадо и бросил на месте все предметы и имущество ежедневной жизни. Род убегал от чумы, которой заболела персиянка в ветхой башне, и теперь на сто лет это место останется безлюдным, потому что народ в песках живет слухом и долгой памятью. Джумаль залезла по стоптанным когда-то каменным ступеням и спряталась в верхней комнате башни; там лежала на полу де-

ревянная ложка, валялся кусок чурека и стояли три недоделанных горшка; здесь, наверно, жил и прятался неизвестный гость, убежавший опять в пески.

Спустившись немного по ступеням вниз, Джумаль видела, что делается внизу, около матери: Заррин-Тадж лежала одна на каменном полу, черная и спокойная от сознания своей грустной смерти. К ней пришла поглядеть на нее издали Зулейха, персиянка, похищенная в юности вместе с Заррин-Тадж. Потом явились перс Касем и два батрака — Агар и Лала; они не боялись заболеть и погибнуть и коснулись руками каменного ложа, на котором лежала умирающая, и ушли, унося в себе чувство вечного прощания. Джумаль не подходила к матери, потому что ее могли увести отсюда, и ждала, когда люди отойдут далеко.

Пришедший после всех Атах-баба оглядел все помещение, жалея, что пропадают ковры, кошма и посуда.

Он остановился вдалеке от Заррин-Тадж и громко сказал ей свои слова, те, которые обычно шепчут мертвому на ухо в промежутках между поцелуями, чтобы умирающая запомнила их и передала через смерть к богу на небо.

— Скажи там, пожалуйста, богу — тебе все равно, ты ведь мертвая, — скажи там, чтоб я один остался на свете! Овец стало мало, онидохнут, я один с ними справлюсь, а люди пусть станут душами и живут у бога на небе, где ты будешь жить.

Он ушел, но скоро вернулся опять, вместе с Ода-Карой, чтобы найти и взять с собой Джумаль, за которую уже были уплачены средства. Тогда Джумаль побежала вниз, приникла к матери и обняла ее всеми силами. Заррин-Тадж еще чуть дышала, и душа ее жила в жизни.

Ода-Кара и Атах побоялись брать эту невесту, обнимавшуюся с чумой, и ушли, проклиная общие убытки: один недополучил, а другой уплатил ни за что.

— «Смерть, — говорил Мохаммед, — это великая разлучница людей», — сказал Ода-Кара, — а меня она разлучила с овцами и баранами...

VII

Все люди, стада и собаки ушли далеко. Такыр был пуст и глух, как туркменское небо. Джумаль стала заводить хозяйство из оставшихся вещей. Она нашла шесть

туш баранов, лишь отчасти истраченных на пищу и брошенных в бегстве от смерти. Она сварила суп для матери и покормила немного ее. Заррин-Тадж все еще понемногу была жива, боясь окончательно ожить, чтобы потом сразу не умереть. Вечером Джумаль глядела с высоты башни в пустыню, она ждала, что придет гость, бегущий где-то в песках. Но никто не шел, — по такыру катилась трава, исчезая отсюда дальше, где она снова может расти.

Садилось солнце и снова вставало. Время шло, чтобы мучение, томящееся в сердце каждого человека, стало привычным. Заррин-Тадж оправлялась и начинала ходить и существовать по-прежнему.

Когда им нечего стало есть, Заррин-Тадж пошла с дочерью через такыр, чтобы дойти до хивинского караванного пути. Однако, пройдя лишь половину такыра, Заррин-Тадж опустила на глину и не могла дальше идти.

— Мама, давай с тобой умрем, — сказала Джумаль.

Она легла с матерью рядом и закрыла глаза в терпении.

— Ты тоже закрой глаза и не смотри на меня, — попросила Джумаль. — Так мы скорей умрем. Чего зря глядеть! Ведь нечего, мы все уж видели...

Джумаль прижала мать к себе и заметила, какая она стала высохшая, старая и маленькая — меньше ее. Она попробовала ее пошевелинуть — Заррин-Тадж была легка, как сухая ветвь.

Джумаль встала и подняла свою мать. Она справлялась с нею и понесла вдоль по такыру, задумав умереть немного позже. Вечером Джумаль донесла Заррин-Тадж до песчаной границы такыра и легла с нею ночевать в теплое углубление.

Утром они увидели чужого человека, сидевшего около них. Он поздоровался с матерью и дочерью и вынул из своего мешка кусок баранины для угощения. Джумаль сразу узнала в нем пустынного гостя и обрадовалась ему. Гость не был туркменом, хотя и говорил на туркменском языке. Он имел одежду серого цвета, давно изношенную, и молодое, ясное лицо, привычное к горю и бедствиям.

— Ты кто? — спросила его Джумаль.

— Я австриец Стефан Катигроб, — сказал бродящий гость. — А ты?

Джумаль никогда не слышала про австрийцев. Лишь два раза она видела, как живут люди в оседлых курганах, и еще не знала, что есть на свете города, книги, война, леса и озера.

Пока Джумаль говорила, ела и смеялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла.

Джумаль через некоторое время хотела кормить мать и позвала ее, но персиянка не ответила. Тогда Джумаль подошла и попробовала ее. Она подняла на ней одежду и увидела грудь, похожую на два темных, умерших червя, вьезшихся внутрь грудного вместилища, — это были остатки молочных сосудов, некогда выкормивших ее, — а кожа матери провалилась меж ребер, и сердце было незаметно: оно больше не билось. И вся грудь ее была так мала, что только немного и сухое могло там находиться — чувствовать что-либо счастливое старухе было уже нечем, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь ничего уже не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать. Рабыня умерла.

Катигроб стоял в стороне и наблюдал, как дочь ласкает умершее тело своей матери, наполняясь думой и скорбью. Затем, когда Джумаль прошептала в ухо матери свою просьбу на небо о счастливой судьбе, Стефан Катигроб приблизился к умершей, чтобы поднять ее и нести хоронить. От Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты, — Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Он сам заплакал и отвернулся... Где-то была его родина, шла война, он убежал отовсюду и скрылся надолго, может быть, навсегда, в этой худой пустыне, давно рассыпавшей свои кости в прах и прах истратившей на ветер. Он, венский оптик, видит теперь одни миражи, исчезающие эфемеры света и жизни.

Катигроб опомнился от своей мысли. Перед ним в ожидании стояла Джумаль, выросшая в тоске, в голоде, рабстве, но живая, чистая и терпеливая. Австриец поднял ее к себе на руки и поцеловал в темные, доверчивые глаза.

Ночью Катигроб отнес покойную Заррин-Тадж далеко за пределы такыра и там закопал ее в песчаную глубину. Сверху он насыпал холм, но его мог скоро развеять ве-

тер, поэтому австрийский солдат произвел шагомерную съемку местности, привязавшись к постоянной пограничной черте такыра. Он не хотел, чтобы человек, даже мертвый, был забыт. Съемку он записал себе в памятную книжку.

Джумаль уснула на прежнем месте, где умерла ее мать. Катигроб разбудил ее и повел жить в глиняную башню посреди такыра. Он понимал, что туркмены возвратятся туда не скоро — когда окончится одна война в Европе и, может быть, начнется другая, а к тому времени он умрет в одиночестве.

На другой день Катигроб оставил Джумаль одну в башне с остатками еды из своей сумки, а сам пошел за сто верст, на хивинскую караванную дорогу, где был колодец Боркан.

Он прожил там шесть дней. Мимо него прошли два каравана купцов, затем проследовали пешком воры и дезертиры, скрывавшиеся к Каспийскому морю. Кому что нужно, тем работал Катигроб, получая в ответ баранину, рис, лук, спички и вино. Он чинил обувь, дорожную утварь, смазывал болячки верблюдам и ишакам, показывал фокусы и рассказывал сказки.

На девятый или десятый день он обычно возвращался к Джумаль на такыр с пищей и заработанным добром. Однажды он привел больного ишака, которого бросил караван, и Джумаль вылечила и воспитала его. В другой раз Катигроб принес девушке бусы из ракушек Аральского моря и поцеловал ее в губы. Джумаль не противилась его чувству, но сама была равнодушна и не понимала, за что можно любить человека. Она помнила умершую мать и других женщин своего племени — многие из них, когда умирал муж, смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слезную влагу для сухих глаз.

VIII

Они пробыли вместе шесть лет, и такыр перед глиняной башней лежал по-прежнему без звука, без жизни — пустой, как судьба Джумали. Стефан Катигроб по-старому ходил время от времени на караванную дорогу, но караваны пропали, лишь изредка ему удавалось заработать полмешка риса или тощую овцу.

В одну серебряную ночь, когда Катигроба не было, Джумаль услышала далекие выстрелы. Она взяла кин-

жал, спички, немного риса, села на осла и поехала в ту сторону, где кто-то стрелял. Она ехала всю ночь и весь день, до вечера, ей никто не встретился, осел устал в глухих горячих песках и остановился. Джумаль сошла с него и потянула за повод вперед, чтобы встретить человека или найти колодец.

Заночевав в неизвестном месте, наутро Джамуль снова повела своего осла вдаль и к вечеру дошла до маленького такыра, около которого был колодец с блоком и бурдюком. Джумаль достала воды, но вода оказалась густой и зараженной, как гной,— в колодце лежал мертвый человек ногами вверх, и громадные, сальные мухи ползали по саксауловому срубу. Осел, истекавший пеной жажды, отвернулся от бурдюка; тогда Джумаль отрезала подол от своей одежды и подожгла его, повернув осла таким образом, чтобы дым обдавал его морду и он не чувствовал бы вкуса воды. Осел начал пить и выпил три бурдюка, пока не опился и не умер от гнойной воды. Джумаль, зная, что завтра она тоже умрет, жалела лишь, что будет далеко лежать от матери.

Ночью Джумаль задремала, и дремота ее стала непродолжительной, — она забыла, что живет, и делала что попало: то вставала и ходила, то снова ложилась, потом опять бежала, улыбалась и плакала, и все время вспоминала что-то все более забываемое, уносящееся от нее в сумрак, пропадающее, как дальний вопль, и протягивала за ним руки.

Ночью ей представлялись тысячи людей, бегущих по такыру, выстрелы и крик. Она хватала кинжал и бежала за ними, пока не падала в слезах своего отчаяния и одиночества.

Однажды она проснулась спокойной. Было прохладно. Луна светила ей в лицо, кругом тихо говорили люди — Атах-баба, Ода-Кара и четверо незнакомых. За такыром, в песках, паслись оседланные лошади, горел маленький костер, и котел с водой кипел над огнем.

Джумаль встала. Ей никто не обрадовался и не удивился, что она еще цела,— наверное, у этих людей были свои неразлучные заботы. Но все же Ода-Кара дал Джумаль кусок чурека, и она разглядела ружья, лежавшие около каждого человека. Ее спросили, видела она красных или нет, но Джумаль не знала, что это такое. Атах ей не поверил.

— Это ты отравляешь колодцы! — закричал он.

— Нет, — сказала Джумаль.

— Врешь, шпионка, — не поверил Атах-баба, — поганая гранк! Рабы все красные!

— Дайте мне попить, — попросила Джумаль. — У вас вода в котле паром уходит.

— Завтра напьешься, — сказал Атах-баба. — Эта вода солона для тебя.

Они стали пить чай и выпили всю воду из котла. Джумаль отвернулась от них и от злобы перестала хотеть пить этой воды.

Под утро все уснули, кроме Ода-Кары, который остался сторожить лошадей и оружие. Но, вспомнив, что Джумаль проданная ему жена, Ода-Кара подполз к ней и лег рядом. Джумаль молча подпустила его, а потом, когда он крепко обнял ее и занял этим свои руки, Джумаль схватила его за бороду и воткнула ему в горло кинжал. Ода-Кара вместо крика только сумел прошептать последнее слово и умер.

Джумаль свалила с себя мертвеца и приподнялась на локтях. Все пятеро спали, луна садилась в утреннее небо, кругом было просторно и чисто. Она решила, что, если ее мать-рабыня лежит мертвая где-то, пусть погибает в песках и все эти свободные и богатые.

Джумаль встала на ноги, пошла к лошадям и без предосторожности освободила от пут стреноженных степных коней. Одну же лошадь она повела за собой, собрала винтовки у спящих, связала их, чтоб они не расходились концами, и взяла с собою поперек седла. Ударив по лошади, Джумаль поехала долгою рысью в пески, свежая от утреннего времени и вспомнившая себя, точно напившись росы. Свободные лошади, не поенные давно, также бросились за нею и бежали не отставая, думая, что будет вода.

Спустя два или три часа она встретила красноармейский разъезд, который разоружил ее и велел дать сведения про басмаческую шайку Атах-бабы.

IX

После того события Джумаль долго не была на такыре с глиняной башней — десять лет. Она прожила все это время в Ашхабаде и Ташкенте и окончила сельскохозяйственный институт.

Джумаль Таджиева — она носила фамилию по имени матери — справлялась везде про австрийского военнопленного Катигроба, но о нем не было никаких сведений. Джумаль узнала, что где-то есть, близ Заунгусской впадины, небольшой заповедник древних растений и там живет всего один человек с винтовкой и двумя собаками. Там же, вероятно, находилась глиняная башня и большой такыр. Но выехать ей было некогда, и год за годом она откладывала поездку.

Одною истекшей весной Таджиевой поручили определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов. Естественно, что садоводство лучше приурочить к такырской земле, чем к эоловым минеральным пескам. Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персидское черное платье, покрылась белой тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала одна из Ашхабада. У нее была десятиверстная карта пустыни, и она соображала по ней, где может быть большой такыр. Но вперед она направилась в заповедник древних пустынных растений — она интересовалась этим как специалистка и жительница пустыни.

На пятый день скучного пути она неожиданно увидела синий купол башни с золотой змеей и вечный такыр, окружающий ее. Копыта лошади зазвенели по плотным плитам глины, как по мерзлоте; все так же было печально кругом, как будто время не миновало и сама Джумаль осталась юной и угрюмой, не видев городов и рек, не зная в мире ничего, кроме ветра, поющего над ее пустым сердцем.

Был полдень, майское солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и грустную родину Джумаль. Она подъехала к заброшенной башне, построенной когда-то ветхим, погибшим народом. Она сообразила: «Такыр велик, около него есть обильный колодец с пресной водой, я здесь поселюсь, и мы посадим сад, — здесь лежит моя бедная родина».

Джумаль вошла в башню. По-прежнему пусто и уютно было нижнее помещение. На плитах пола лежала гадость каких-то людей и покоилась раздавленная фаланга. В углу находился скелет человека, покрытый остатками одежды, и кости его были вдавлены внутрь от убийства или посмертного надругательства. Джумаль наклонилась к скелету — кости его давно иссохли, свернутый

череп глядел в стену, несколько ребер не хватало, и грудь была смята, точно ударом кувалды. В лохмотьях австрийской куртки она нашла карман, но никаких знакомых ей бумаг и памятной книжки там не оказалось. Лишь на стене у выхода осталась надпись химическим карандашом по-немецки:

«Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы увидимся».

— Я пришла к тебе, и мы встретились! — сказала Джумаль вслух одна в гулкой башне, под спудом ее высоты.

Выйдя из башни, она поехала по такыру кругом, чтобы снять с него глазомерный план для суждения о размерах будущего садоводства. Проехав несколько верст, она увидела в стороне, в песках, изгородь из колючей проволоки и направилась к ней. За изгородью росли редкие травинки, вдалеке стоял домик сторожа, а среди огороженного участка находились три русских креста над чьими-то могилами и один обычный самородный камень, поставленный вертикально. На камне имелась высеченная надпись латинскими буквами: «Старая Джумаль».

Джумаль сошла с лошади и опустилась на колени перед колючей проволокой, закрыв лицо персидским платком. Она не знала, что ей нужно сделать иначе. Она вспомнила слова, которые жалобно говорила про кого-то ее покойная мать: «И что это за плохое горе мое! Тот, кто ушел, назад никогда не вернется».

Отняв платок от лица, Джумаль разглядела древнее реликтовое растение — серый стебель, росший около камня матери. Она его узнала по рисунку, названию и еще по детской памяти, но значения его раньше не понимала. Следовательно, она доехала куда хотела — здесь и был заповедник растений, исчезающих с земли.

ТРЕТИЙ СЫН

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошиблась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу,— может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола, у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе: то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое как звезда,— и старик ждал сыновей.

Первый старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не выдавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, — пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой, незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у кого была дочка, — физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро, и седьмой отец, бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое непрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильнее от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, —

весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека — тоже старичка, одетого обыкновенно, поштатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился,— это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянув-

ших на него, и боязливо скрылся за дверь. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений,— для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет, там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла — от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями

«голова», «ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь»,— попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего,— сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу; оно было мокрое.

— Ты что плачешь?— шепотом спросил старик.

— Мне бабушку жалко,— сказала внучка.— Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей голову и шепотом ответил:

— Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь?— говорила она.— Луч-

ше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду,— тихо ответил старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука,— закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайком разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

ФРО

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание; провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка!— сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железа ящика, оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город: по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно,— он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света; за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек придет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены волнами (такую прическу

носили когда-то в девятнадцатом веке), серые, глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью,— она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела,— сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то, жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжело бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды

перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вождения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать...

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несатытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию,

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа: позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы, вместо игрушки, и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам; женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору,— долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои короткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет,— сказала Фрося,— я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федыке?— произнес механик.— Он явится: пройдет один год, и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду, твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно!— с удивлением проговорила Фрося.— Нет, наверно, я тоже мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умер-

ли давно. Тебе до мешанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату,— сказала Фрося.— Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна...

— Ужинать сейчас пора!— согласился отец.— А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает,— все как полагается!..

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать!— велела ему дочь; она хотела слушать кузнециков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Ну, на дерьмо сошла!— тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту, ру-ру, шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про

всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать,— им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете,— спросила она его,— что курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет,— сказал уборщик.— Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица?— спросил он у Фроси.— Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату!— сказала она.

— На тебе мою,— ответил бригадир и подал женщине инструмент.— Бабы!— сказал он прочим женщинам.— Ступайте становиться на третью яму, я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и вслел работать, а сам ушел. В яме уже работали две женщины, выкидывая наружу горячий

шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми—подругами и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним любовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвратится! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала... Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково

печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному — пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы ходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой — как сестру двоюродную встретила... Ну давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси.— Много там осталось?

— Не,— ответила тамошняя Фрося,— тут малость, поскребыши одни...

— Лезай сюда,— велела ей жена берданочного сторожа.— Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы — для дальнего пути, или наоборот — остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там — деньги получите,— там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались. Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справлялись со своими делами, немного попудрились, улыгнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов.

Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, тело ее не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был?— тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился. Почему вы опоздали?— многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко!— сказала Фрося.

— Вам здесь нравится?— спросил кавалер.

— Ну, конечно, да!— отвечала Фрося.— Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили сидро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось!— прошептала она.— Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, ай нет?

— А какие же? Конечно, такие!— сказала Фрося.— Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего!— согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бэби», диспетчер держал крепко свою партнершу,

стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут?— говорил кавалер среди танца ей на ухо.— Мне знакомо ваше лицо, я только за- был, кто ваш отец.

— Фро!— ответила Фрося.

— Фро?.. Вы не русская?

— Ну, конечно, нет!

Диспетчер размышлял.

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Ефста- фьев!

— Неважно,— прошептала Фрося.— Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась шинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете?— испугался диспетчер.

— Немножко,— прошептала Фро.— Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор

строительных материалов, а его караулила одна милосердная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо — посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармоники, потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье,— скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается,— во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того — он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживлен-

ную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там — микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Но обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Ефстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстовские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала ни сколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал.

— Пришла?— спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, шитое в шапку.— Тебе каши с маслом не подогреть?— спрашивал отец.— Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет!— сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал, потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею...

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты, наконец!— говорила Фрося.— Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали...

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтобы она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он.— Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегая в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.

В дверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок; там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, и закрыла дверь квартиры.

«Играй! Отчего ты не играешь?» — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал из всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уж двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принялась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его теплом, его головой,

наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать — он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья, старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: обойдется так.

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где — ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми, — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад — казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

— Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь! — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого

запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла, — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весной морозом побил. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? — не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносецем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносецев — еще не играл мальчик на губной гармонике на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандеро-

ли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы усталое ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила Фрося. — Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что, одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разности почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чаю, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаза в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо — он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить. Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были, он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дому.

Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему подбежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно, — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умирала, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня,— сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор: он любил ее высокие, ученые слова.

Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он писал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал «а», должен говорить «б», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б»? А если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, и многое другое обещал обду-

мать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца — дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека... Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дому ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа — у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, навер-

но, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонику, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой, детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его,

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта. Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале? Что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал, мешать вам буду...

— Ну, уж ладно, ханжа! А где Федор? Когда он явится?

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. «Может, говорит, потом в Китай проберусь, неизвестно».

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь!

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости!

— Сейчас, — ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

I

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать лет от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, — что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и поставила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: «Не то отец вовремя придет с дежурства, не то

запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает», — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо, народ разошелся по сельским хлебным местам, либо лежал в своих жилищах, слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них были своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеных картошки; затем он погрел их на кот-

ле, посыпал солью и дал Ольге две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо,— сказала Ольга механику. — Мне мать велела, когда она еще жива была.

— Раз надо, тогда езжай, — сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец: он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно, я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга. — Меня родная тетка ждет...

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец. — Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится,— сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. — Надо бы взять ее, что ли...

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками. — В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз...

Ольгу подсадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового, чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавают жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

II

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

— Тут твоя тетка живет, — сказали они. — Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет, — произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбочке, босая и с хлебом под мышкой.

— Сыщешь, — ответил задумчивый красноармеец. Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку, — поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи, — ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. — Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю, — согласилась Ольга. — А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиток. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я и не побираюсь, я к тетке приехала, — сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету, — подтвердила женщина, — у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела, — произнесла Ольга. — Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала она. — Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица... И-их, нет — не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку, — теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Ты ступай покуда посиди на улице, — указала она племяннице, — а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, — сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь — сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы, между ними уже много раз выростала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы, — они находились как раз против окон того дома, где жила тетка, — и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни, и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, — наступил вечер, и стало темно. У Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у жи-

вотных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она. — А мы уж думали, ты давно ушла...

— Я уморилась ждать, когда вы позовете, — сказала Ольга. — Я боюсь одна на улице...

— Ну иди уж, — позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно, и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду, — подумала Ольга. — Тут нельзя: скажут — ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пой, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны. — Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то! — воскликнула тетка. — У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а накроюсь своим платьем, — согласилась Ольга.

— Пусть ночует, — указал жене дядя, Аркадий Михайлович. — А ты нынче не зверствуй, а то тебе советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают детей, а сами помрут, — вот пусть она их и кормит власть-то советская!..

— Прокормит, — уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— Прокормит! — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. — Кто их прокормит, если у них родители

рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно обращаться советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу, — сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись, доедай, — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшеничную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь, — произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко, — ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. — Больше не буду, — сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела, — сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай, — пригласила ее тетка на сундук. — А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

III

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца, — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да видишь вон, — указала тетка на Ольгу, — лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня, — ответил ей муж, — делай сама с нею что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуят, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я, босая, в одной юбочке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете, дядя с тетей, так я хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пушу!.. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. — Ишь уморилась, подумаешь, — вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное, серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка, и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга.

— А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала, — отвечала девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Поди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка. — Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты начнешь по шкафам крошки собирать до по горшкам лазить... А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди, — значит, тебе есть куда идти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду, — пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желания, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие: ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет, — она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами моченые кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что

ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии, — проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик. — Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть, — попросила Ольга. — У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а моченки ты уже все равно повиыташил...

Старик отдал свою кружку сироте.

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, — может, наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик. — А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старiku:

— Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

IV

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся.

На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащей-

ся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся советская власть считают ее необходимой для себя, и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь, — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутках. Но глаза ее понемногу привыкли к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом; ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, — и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотопле было бедным и несчастным,

потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала принести дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к ученью работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприятных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобрела из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, — она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала, оттого что это было хорошо, оттого что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, — похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце. Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин, — сказала Лиза. — Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом... Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: «Он уже старый, — подумала она, — как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли, — нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать». Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть, — еще озаботилась она. — Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг по-рем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

V

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, — по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наесться, но теперь она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, — для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, их столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали выдачу стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офице-

ры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству, — уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и поделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась.

— Ты учишь теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут, — сказала она. — А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить...

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю, — делов везде много, — грустно сказала Ольга. — А ты учишь, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу, — произнесла Лиза. — Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу, — пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было войти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу..

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка: Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга пришла к тетке, с тем чтобы нести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить, — и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез или их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее Аркадий Михайлович теперь всегда, как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену...

— Тетя, — обратилась Ольга, — дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж, — произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни. — Все одно, жить теперь мне — не судьба... Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрешила ковригу пополам и половину хлеба взяла себе на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей жизни и конец! — тихо сказала она. — Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею: она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Та-

тьяна Васильевна. — Уж ты видишь, какая я стала — совсем на человека не похожа...

В общежитии Ольга застала Лизу; она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться, — сказала ей Ольга. — Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза. — Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра, — ответила Ольга. — Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила... Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет... Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, у меня в животе щипало, есть хотелось...

— Что у тебя, кроме живота, ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга. — У тебя сознание должно где-нибудь быть?

Подруги сели делать уроки к общему столу, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас их человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись, на мгновение улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену, — другой домашней работницы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвратится под вечер с завода; за

эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Она полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную старую бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку себе в рот, а другую ему, и так по очереди, иначе ребенок есть не хотел.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии, и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!» Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька-старуха: она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался, — он не верил, что государственные няньки, члены

профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

VI

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться...

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, недалеко от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, и они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «ОВ». Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек машине своим способом — как не надо на ней работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою, — говорил Подметко. Он открыл регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну, верно, — ухмылялся Подметко. — А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарашну

реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, — предлагал Подметко, — то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь, либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь, — сообщала ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно, — соглашался Подметко. — А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну, это после, а сейчас ступайте всю машину оботрите, чтоб блестела, а сами потом умойтесь, — что вы чумазы, как чумички, сидите на паровозе, грязь ведь это лишнее трение и смерти!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончались, они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи, — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходило сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга, Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги ее успели обжить за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай... У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась.

Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины.

«Нет, — задумалась она. — Он говорит о том, что у него состав оборван...»

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему.

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу, — недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек. — Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимаясь от станции в крутой и долгий подъем, а оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналя об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу.

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо скорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас, — в тревоге и поспешности сказал начальник, — сейчас мысль ко мне придет!

— Долго, — возразила Ольга. — Не надо, я сама знаю...

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз. — Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся... Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге, — тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое...

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно, — ответил Подметко. — Давай! Я бездетный.

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настезь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга. — Неужели она спит и не слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза — надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, увеличивающаяся на глазах.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и сдвинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник на всякий случай поднял сигнал остановки — красный диск — и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать—тридцать вагонов; большая часть вагонов были открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия,

кухни и лежало, покрытое брезентами, разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, но им, одним вагоном, удерживать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщить в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачалось от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко непрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед. Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся, — сказал он. — Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна, — ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой, — сказал он. — Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она. — Шуруй скорее топку. Ты завалил пламя углем, — что же ты со мной делаешь?

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга. — Неужели я сейчас умру? Не хочется!»

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!» — решила она.

Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос.

Она обернулась к Ивану Подметко.

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок.

— Надо воду выбить — шибче поедем. — И он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: «Боже мой!» — как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад: «Что случилось?» — и тут же ощутила второй, громящий, тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она самой себе. — Пусть песни поют без тебя!» — и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала вмертвую, уперлась на месте, — Ольга сейчас же опустила воздушный тормоз, а затем сама, всюю машиной, надавила задним ходом на ударившийся в нее состав, но инерция задних, напирających вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста: «Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав! У меня записка в зубах была — где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?»

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливают чужая сила в железное тело горячего котла.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер — на котел, но зато весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи, среди чистого поля, освещенного безветренным утрен-

ним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая, одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом, назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие: у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться. Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения: автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку,— сказала Ольга.— А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут...

— Хорошо,— ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче.— А это кто — Юшка?

— Ребенок,— произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал.

Она долго и терпеливо болела, но выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Долго шла девятилетняя Наташа со своим меньшим братом Антошкой из колхоза «Общая жизнь» в деревню Панютино, а дорога была длиною всего четыре километра, но велик мир в детстве... Наташа то несла брата на руках, когда он жалостно поглядывал на нее от усталости, то ставила обратно на землю, чтобы он шел своими ножками, потому что брат был кормленный, тяжелый — ему уже сравнялось четыре года, и она умаривалась от него.

По обочинам широкой июльской дороги росла высокая рожь, уже склонившая голову назад, к земле, точно колосья почувствовали утомление от долгого лета. Наташа с испугом вглядывалась в эту рожь — не покажется ли кто-нибудь из чащи, где обязательно кто-нибудь живет и таится...

Безоблачное небо, туманное от полуденной жары, казалось Наташе печальным и страшным. Она вспомнила ночь со звездами над избою и двором, где она жила в колхозе вместе с отцом и матерью, и решила, что ночь интересней и лучше, ночью поют в колхозе одни добрые, кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае,— и нет ничего страшного.

Наташа крепче взяла Антошку за руку и побежала с ним мимо ржи, чтобы скорее увидеть избы деревни Панютино, где жили бабушка и дедушка. Но брат скоро умирался, он упал в пыль и заплакал, а Наташа не догадалась сразу оставить его руку и нечаянно проволокла Антошку немного по земле. Взяв брата снова на

руки, утешив его, Наташа взошла с ним на возвышенность кургана. Здесь рожь росла низкая, потому что земля была худая, и отсюда было далеко видно, как идут по верху ржаных полей темные волны ветра и как светится льющийся воздух над озаренными полосами хлеба, которых сейчас не покрывала тень ветра.

Наташа огляделась вокруг — когда же будет Панютино? — и увидела крылья мельницы, поднимающиеся из-за дальних хлебов и вновь уходящие в них. Наташа вздохнула с утешением — вон уже видна мельница, там мелют зерно, это, наверно, дедушка привез мешок: он знает, что придут внучка со внуком, и надо испечь блины из новой муки; старая мука ведь уже вся вышла у них, и из нее плохо всходит тесто, а блины получаются не такие праховые и ноздреватые, как из свежего помола.

Наташа понюхала воздух. Пахло соломой, молоком, горячей землею, отцом и матерью. Это было ей знакомо и мило, и девочка понесла брата дальше. Он теперь обнял сестренку вокруг шеи и дремал, свесив голову за плечо Наташи.

И они пошли вдаль по дороге, пролегающей во ржи. Вдруг Наташа вскрикнула и остановилась. Из глубины хлебов вышел к детям худой, с голым, незнакомым лицом старичок; ростом он был не больше Наташи, обут в лапти, а одет в старинные холщовые портки, заплатанные латками из военного сукна, и он нес за спиной плетеную кошелку со щавелем и крапивой, что годятся для щей. Старик также остановился против детей. Он поглядел на Наташу бледными, добрыми глазами, уже давно приглядевшимся ко всему на свете, снял шапку, сваленную из домашней шерсти, поклонился и прошел мимо. «Не страшный! — подумала Наташа про старика. — А пусть бы только тронул, я бы сама ему дала изо всех сил, он сразу бы умер... Некормленный, маломочный какой-то, наверно, нездешний!»

А старичок тот осторожно посмотрел на миновавших его детей. Ему запомнилось лицо Наташи — ее серые чуткие задумчивые глаза, внимательно открытый, дышащий детский рот, полные щеки и светлые волосы, обгоревшие на солнце и иссушенные полевым ветром. «Хорошая будет крестьянка!» — решил старик. Теперь он старался разглядеть ребенка, которого несла девочка. «И этот на нее похож, — увидел прохожий. — Сомлел и

спит. А что ж ему!» И старик пошел прочь, уставившись глазами в земляной сор и мелкую траву на дороге.

Немного пройдя, старый человек с удовлетворением прилег около ржи, положив свою голову на кошелку с травой. Ходить ему сейчас было жарко и незачем; бумагу в колхоз «Общая жизнь» он отнес аккуратно и теперь устал, и время у него еще есть впереди — летний день велик, ко двору успеет воротиться.

Дед и бабушка Наташи жили в деревянной избушке на краю деревни Панютино. Бабушка Наташи Ульяна Петровна выглядывала за ворота: не идет ли ее внучка со внуком. Она еще третьего дня наказала бабе-почтальонше, чтоб непременно зашла к ее дочери в колхозе, с тем чтобы дочь отпустила внучку со внуком погостить в Панютино. «Должно, почтарка забыла к дочке зайти,— думала Ульяна Петровна, вглядываясь в пустую жаркую дорогу во ржи.— А ведь ей полтора трудодня за день пишут: ишь ты, льготная какая! Ходит, пыль подолом сгребает — только и делов... Либо в совет пожаловаться на нее, что лы!.. Да чума с ней, пускай ходит-мечется!» И бабушка закрыла калитку.

Еще с утра, спозаранку, она наложила соломы в печь, а белое тесто стояло со вчерашнего вечера, и бабушке уже два раза приходилось откладывать его из горшка в глиняную чашку: за ночь тесто взошло своим избытком через край. Все было готово, чтобы начать печь блины, но гости еще не пришли, и свой старик как ушел с самого утра на озеро ловить рыбу, так и пропал. Наверное, опять сидит в кузнице у кузнеца и разговаривает не о деле.

Бабушка старательно помешала тесто; уже пора было из него печь блины, а то оно перестоится и закиснет. Чем же другим ей было приветить внучку, внука? Что есть еще на свете более необходимое, чем это ее угощение, она не знала.

Бабушка не старалась выдумать что-либо другое хорошее, лучшее — она лишь могла поставить тесто, испечь хлеба и блины, чтобы накормить родню. Она не понимала, как еще жить по-хорошему, ей ничего и не надо было более. Пусть все поскорее соберутся вместе в одну избу, пусть будут здоровы ее дочь со своим мужем и растут счастливые внуки.

Ульяна Петровна запалила солому в печке, но тут услышала, что на дворе закричал чужой петух, постоянно приходивший от соседей, чтобы бить петуха бабушки. Ульяна Петровна была ревнива к своему добру — она схватила веник и пошла отгонять хищника. Прогнав петуха, бабушка оглядела улицу и дорогу, ведущую в ржаное поле, — может, кто-нибудь покажется. Но не было никого, лишь волнами плыла жара по земле, да старые, привычные избы стояли по деревне, и копались пыльные соседские куры в дорожной колее, и бабушке стало вдруг скучно, точно она посмотрела не на белый свет, а в крошечную тьму.

Тогда Ульяна Петровна затворила калитку и пошла печь блины. Первый блин сразу получился хорошим — и недаром: уж сколько их испекла бабушка на своем веку! Они сами у нее румянились и обратно из огня просились, только есть их сейчас было некому. Сама Ульяна Петровна свою стряпню всегда ела последней. Она брала себе остатки и поскребышки и пекла из них, что выходило, чтоб не пропадало добро, вся пища для нее была одинаково хороша.

В окно кто-то слабо постучался с улицы.

«Либо побирушка! — подумала бабушка. — Да они теперь уж и ходить перестали, а то бы я дала блин человеку, нынче урожаи большие пошли, говорить нечего».

Она вынула сковородку из огня, чтобы блин не подгорел, и пошла к окошку. В окно смотрела внучка Наташа; за спиной у нее, обхватив ручками шею сестры, находился Антошка. Он спал сейчас, положив большую голову на плечо Наташи, так что девочка вся согнулась под тяжестью брата. Одной своей рукой она удерживала обнимавшие ее руки Антошки, чтоб они не разлучились, а другой ухватила за его штанину, чтоб ноги мальчика не висели в воздухе и он не сползал вниз. Наташа прислонила брата ногами к завалинке, освободила свою руку и еще раз тихо постучала в окно.

— Бабушка, — сказала она, — отворяйте, мы к тебе в гости пришли.

Ульяна Петровна заметила, что Наташа чем более подрастает, тем делается лучше и задумчивей с лица и все более походит на нее, когда бабушка была девушкой. Тронутая такой добротой жизни, которая снова повторила ее во внучке, чтобы каждый, посмотрев на Ната-

шу, вспомнил бы Ульяну Петровну после смерти, утешенная и довольная, бабушка сказала:

— Ах вы, бедные мои! Ну идите в избу скорее.

В избе бабушка хотела уложить Антошку на кровать, но он потянулся и открыл глаза.

— Бабушка,— сказал он,— испеки нам блины. А то мы шли-шли...

— Да уж они давно готовы,— ответила бабушка.— Садись на лавку, я сейчас тебе новых испеку, старые остыли.

— И квашонку давай,— попросила Наташа,— мы в нее блины будем макать.

— Сейчас, сейчас... Сейчас я у печки управлюсь и в погреб схожу,— говорила бабушка,— а потом оладушек вам наделаю, чаю согрею, а дедушка придет — обедать будем, я квасу вчера поставила, холодец сварила, чего же еще надо-то!

— Еще варенье земляничное и грибы,— сказала Наташа.

— И то, милая, и то, а то как же!— вспомнила Ульяна Петровна и пошла в выход за припасами, обрадованная, что добра у нее много и есть кого кормить.

В избе пахло горячей землей, сытными печеными блинами и дымом, а за окном светило солнце над незнакомой травой чужой деревни.

— Не соли!— сказала Наташа Антошке.— Ты к бабушке в гости пришел, чего ты солишь? Дай я тебе нос вытру...

Антошка умолк; он перестал сопеть и лишь понемножку дышал, сидя на лавке у пустого стола. Наташа заглянула в бабушкину светлую горницу. Там было чисто, скучно; две жирные мухи бились в оконное стекло; большая керосиновая лампа висела над столом, убраным вышитой скатертью, как на праздник.

Наташа села на стул у стола со скатертью и стала разглядывать рисунок вышивки; у них дома такой скатерти не было, а им и не надо: мать Наташи каждый день моет стол и скребет его ножом; у них и так чисто и хорошо. Петухи закричали на дворе — сначала один, потом другой и сразу все, и наседки заклохтали, собирая поближе к себе цыплят; поднялся ветер на дороге и понес пыль.

— Наташка, меня мухи едят, иди сюда,— позвал сестру Антошка из другой комнаты.

— Пусть едят, сейчас приду,— ответила Наташа.

Она подошла к окну и прислонилась лицом к стеклу: ей хотелось увидеть на улице что-нибудь знакомое или родственное, как у них в колхозе были ей знакомы плетни, трава и деревья. Но под окном бабушки рос один только маленький куст; его листья были покрыты пылью, он слабо шевелил ветвями, он истомился от жары и суши и жил точно во сне или как умерший, чужой и грустный для всех, которому не нужен никто.

— Отведи меня домой, я к маме хочу,— попросил Антошка.

Наташа вернулась к брату; он сидел скучный.

— Я хочу к нам домой,— сказал он.— Не надо блинов, я кашу буду, ее мама вчера варила...

Наташа взяла один остывший блин с загнетки и спрятала его себе за пазуху.

— А то ты в дороге есть захочешь, ты всегда не вовремя просишь,— сказала Наташа брату и подняла его на руки.

Бабушка еще была в погребе; низкая обомшелая дверь, ведущая в выход, обложенный сверху дерном, была открыта. Наташа подошла к выходу и поглядела, куда скрылась бабушка. В погребе было темно, ничего не видно. Бабушка бормотала во тьме свои слова,— должно быть, о том, что ей не хочется умирать, но она и так все время живет и живет.

Чтобы не загромоздить калиткой (она еще вдобавок жалобно скрипела в петлях, будто ей было больно отворяться), Наташа прижала к себе брата и направилась по тропинке на картофельный огород и оттуда через прясло вышла к ржаному полю.

Рожь росла тихо. В жаре и безмолвии колосья склонились обратно к земле, словно они уснули. Наташа оглянулась в незнакомом поле, желая увидеть, что застило солнце. Дальняя молния в злобе разделила весь мир пополам, и оттуда, с другой стороны, что за деревней Панютино, шел пыльный вихрь под тяжкой и медленной тучей; там раздался удар грома, сначала глухой и нестрашный, потом звук его раскатился и, повторившись, дошел до Наташи так близко, что она почувствовала боль в сердце.

Наташа вошла в рожь, чтобы спрятаться с Антошкой. Она хотела было наискось пробежать по ржи к дороге и по той дороге уйти от тучи домой к отцу и матери, но затем передумала, потому что боялась потерять хлеб, и пошла по обочине ржи. Антошка уже заметил все, что делается вдаль: и тучу, и вихрь, и молнию; он прижался к сестре и спрятал свою голову около ее горячей шеи, как у матери.

Наташа пошла на дорогу и побежала по ней домой от бабушки. У Антошки болтались ноги, он бил ими нечаянно по сестре, но он старался сидеть спокойно и крепко держался: больше ему сейчас некуда было деться. Наташа спешила изо всех сил, ей хотелось лишь бы только донести Антошку домой, чтобы их не застала буря и гроза в чистом поле. Но рожь все еще была тихой, ветер сюда не дошел, и, может быть, все обойдется, может быть, страшная туча истратится вся в дальнем месте. Антошка молчал; он боялся того, что с ним будет теперь, но его интересовала туча и молния, и он хотел, чтобы случилось что-нибудь страшное, а он бы посмотрел, но только не умер. Антошка глядел через плечо сестры назад, на деревню. Он еще видел избышку бабушки, и можно было туда вернуться, но он зажмурил глаза, испугавшись, что рожь вдалеке, начиная от бабушкина двора, вдруг пригнулась и полегла — на нее нашла буря.

— Наташа, спрячь меня поскорее куда-нибудь, — сердито сказал Антошка. — Иль ты не видишь, что делается, полоумная какая!

— Дай вот домой дойти, я тебе там нашлепаю, — пообещала брату Наташа.

— Мы домой не дойдем, нас гром убьет, — прошептал Антошка. — Неси меня скорее, опять ты шагом идешь! Ты бежи!

Вихрь настиг детей и ударил в них песком, землей, листьями, стеблями травы и деревенским сором. Наташа спряталась с братом в рожь и села на землю, но ветер пригнетал рожь столь низко, что Наташа временами видела дом бабушки, деревню и то, что было далеко в полях и на небе.

Вместе с вихрем, сквозь его горячую пыль, пошел град и стал бить в хлеб, в землю и в Наташу с Антошкой. Тогда она сейчас же укрыла Антошку собою, при-

легла на него сверху и спрятала его голову в своих объятиях, тесно прижав всего брата к своему телу. Град бил по Наташе, по ее голове и по спине, но она молчала, зная, что Антошке теперь не больно и хорошо — он даже шевелился под ней немного, рассматривая землю около ржаных корней в старой пахоте.

Град переменялся на крупный, прохладный дождь. Антошка соскучился прятаться под сестрой; ему хотелось посмотреть, что делается снаружи, хотелось намочнуть на дожде, и он сказал Наташе:

— Пусти меня, я выглянуть хочу.

— Лежи, а то тебя громом убьет,— ответила Наташа.

— Нет, он мимо,— сказал Антошка и вывернулся из-под сестры.

Наташа села и взяла на колени брата, укрыв руками его голову от ветра и дождя. Антошка приподнялся ногами на коленях Наташи и посмотрел вокруг, терпеливо жмуясь от бури, от колосьев и водяных капель, бьющих его по лицу. Он увидел черное, близкое, бегущее небо, а ниже его неподвижно висели серые облака, пустившие из себя длинные волосы ливня, сдуваемые бурей в пустую сторону, как космы у нищей старухи, и эти облака быстро меняли свое тело, таяли и переставали жить на глазах у Антошки. Он решил подождать, что еще будет, но сестра велела ему спрятаться поближе около нее, а она согнется и сохранит его. Но Антошка, не послушав сестры, стал снова смотреть на небо и на землю. Однако колосья ржи мешали ему видеть далеко, поэтому Антошка попросил Наташу, чтобы она подняла его высоко на руки, а он будет глядеть.

Наташа вытерла рукавом платья мокрую голову Антошки и дала ему по затылку.

— Остудишься,— сказала она.— Ишь ты, бес какой: глядеть ему надо на вихрь! Я вот маме скажу, она тебя хлопнет по башке.

Антошка хотел ответить, что мать его по голове не бьет, но задохнулся от удара бури, от которой сразу легла вся рожь и далеко стало видно вокруг. Антошка увидел деревню бабушки и луга за деревней, уже по ту сторону речки в синем свете грозы и в ветре, и под ветром бежала к нему испуганная, дрожащая трава.

Вдруг дождь перестал идти. Ветер упал, стало тихо

повсюду. Но тяжелая рожь больше не поднялась. Антошка снова поглядел туда, где живет бабушка, и увидел ее. Бабушка вышла на высокое крыльцо избы, что выходило во двор, и осмотрелась в непогоде. Она тревожилась о пропавших внуках. «Аль уж они соскучились у меня? — думала она. — Да где уж тут скучать, ведь они только пришли, не пора еще! Наверно чужую деревню пошли поглядеть, сейчас назад явятся. Кабы их вот дождь не замочил, ишь темноты наволокло сколько!.. Пойти кур покликать, пусть в сарае побудут», — решила Ульяна Петровна, но тут же присела от удара грома, близко повторившегося затем еще несколько раз, так что слабая дверь в избу сама отворилась и затворилась, а бабушка как села, так и не встала, пока гром окончательно не угомонился, пока не утихли самые дальние его раскаты.

Антошка увидел молнию, вышедшую из тьмы тучи и ужалившую землю. Сначала молния бросилась вниз далеко за деревней, подобралась обратно в высоту неба, и оттуда сразу убила одинокое дерево, что росло среди сельской улицы около деревянной закопченной кузницы. Дерево вспыхнуло синим светом, точно оно расцвело, а затем погасло и умерло, и молния тоже умерла в дереве.

От накатившего грома зашевелилась полегшая рожь, а бабушка опустилась совсем на крыльцо и перестала ходить по хозяйству туда-сюда, и Антошка засмеялся на бабушку, что она боится.

Вслед за молнией на землю пролился дождь, густой и скорый, так что стало сумрачно вокруг, и бабушку уже было не видно за шумной мглой дождя. Но высокая молния снова осветила рожь и деревню, и тогда Антошка увидел черный дым и красный огонь в середине дыма, который медленно подымался из-под крыши старой кузницы, но огонь не мог разгореться, потому что его заливал дождь. Антошка понял, что молния, убив дерево, сама не умерла, но прошла через корни дерева в кузницу и снова стала огнем.

Наташа обхватила брата, прижала его к себе, как сумела, и вышла с ним из ржи на дорогу; она хотела бежать поскорее обратно к бабушке, чтобы спрятать Антошку от дождя и молнии, но дождь перемежился, капли стали падать редко, опять начало парить теплом в

воздухе, и снова было душно и скучно около чужой деревни. Наташа остановилась на дороге и опустила брата наземь.

Крыша кузницы теперь занялась живым огнем, пламя сушило намокшие доски и горело. Уже бежали люди на деревенский пожар, иные с ведрами воды, а другие с топорами, и скрипел ворот в ближнем колодце, а некоторые крестьяне стояли в отдалении у своих дворов и ничего не делали, — наверно, они думали, что пожар обойдется и перестанет сам по себе, потому что главная, большая туча, богатая грозой и ливнем, лишь подходила к деревне Панютино: она сейчас была за рекою, черная до синевы, тучная и тихая, и в ней сверкали молнии, но гром их был еще не слышен.

Антошка прижался к сестре и заплакал от страха. Он боялся, что горит кузница, из-за реки идет новая, черная, как ночь, туча и снова сверкает гроза, которая ищет землю, чтобы убить дерево и зажечь их старую избу в колхозе.

Наташа осмотрелась вокруг. Она увидела, что туча еще далеко и она успеет уйти с Антошкой домой.

— На, трескай, — сказала она и, вынув из-за пазухи остывший блин, дала его брату.

Антошка сел к сестре за спину и, обхватив одною рукой Наташу за шею, стал жевать блин и скоро сжевал его целиком; сестра же все время бежала домой, стараясь не упасть под тяжестью брата.

Она бежала в сумраке наступающей темной тучи между двумя стенами молчаливой ржи. Антошка смотрел на склоненные колосья и понимал, что это растет хлеб — первое добро жизни, чем держатся люди. Отец его сам говорил: пусть будет рожь, а другое само собой появится — и керосин, и одежда, и книжка с картинками.

Тьма и туча, однако, вскоре догнали детей и нашли на них. Опять начался дождь, и после каждого раздраженного света молнии, после каждого удара грома дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил в землю с такой силой, что разрушал и взворачивал ее, словно дождь пахал поле.

Наташе стало трудно дышать в гуще ливня. Она пересадила Антошку со спины к себе на руки, чтобы в не-

го меньше падал дождь и чтобы молния сверху сперва не ударила в него, и снова побежала вперед.

Чаша ливня срastалась перед нею все более непроходимо, даже идти шагом было сейчас трудно и больно, будто детей окружал сумрачный, твердый и жесткий лес, обдирающий их тело до костей.

Шум ливня заглушал удары грома, только молнии были видны. Иногда молний было так много, что они сливали свой свет в долгое сияние, но это сияние освещало лишь бугры могучего мрака на небе, отчего было еще страшнее.

Наташа измучилась вся. Она остановилась, села возле ржи и изо всех сил прижала к себе вымокшего Антошку, чтобы хоть он остался живым и теплым около нее, если сама она умрет. Но ей подумалось, что вдруг Антошка помрет, а она одна уцелеет, и тогда Наташа закричала криком, как большая женщина, чтобы ее услышали и помогли; ей показалось, что хуже и грустнее всего было бы жить последней на свете.

Маленький брат ее, посидев немного под дождем, сказал сестре:

— Давай яму копать, мы туда спрячемся и проживем. Ты гляди, тут песок... Не плачь, а то я боюсь без тебя...

Дети стали рыть себе руками яму подле ржи, где была легкая почва. Но, вырыв небольшое углубление, они увидели, что сильный дождь дальше сам копает им яму и своей силой вымывает и уносит ручьем песчаную землю, однако спрятаться им туда было нельзя.

Наташа и Антошка притаились под ливнем на голой земле, сжавшись и укрывая руками свои головы.

— Зачем ты меня к бабке-старухе в гости водила?— сказал Антошка сестре.— Дома лучше всего сидеть, я люблю дома... А ты девка-гулена!

— Знай помалкивай лучше! — приказала Наташа.— Кто велел поскорей от бабушки домой идти? Я и блинов ничуть не покушала.

— Я у бабки соскучился,— смиренно произнес Антошка.

Молния засветилась и вздрогнула несколько раз совсем рядом с Наташей и Антошкой, где-то в ближней полегшей ржи. Брат и сестра, боясь грома, загодя схватились руками друг за друга и прильнули один к друго-

му: Антошка к груди сестры, а она к его плечу, чтобы ничего больше не видеть. Но в шуме ливня гром прозвучал не страшно.

— Опять мимо,— сказал Антошка.

Дети давно продрогли от дождя и теперь прижимались друг к другу, желая согреться.

— Вы ктой-то?— хрипло спросил их близкий чужой голос.

Наташа подняла голову от Антошки. Склонившись на колени, возле них стоял худой старичок с незнакомым лицом, которого они встретили нынче, когда шли в гости к бабушке. Сейчас этот дедушка, хранясь от дождя, надел кошелку на голову, а щавель и крапиву, наверно, выбросил прочь.

— Сморились аль испугались, что ль?— спросил у Наташи старик, подвигаясь к детям еще ближе, чтоб они слышали.

— Нам боязно стало,— сказала Наташа.

— Да как же не боязно-то?— согласился прохожий человек.— Ишь жуть какая: и льется, и гремит, и сверкает. Я-то ведь не боюсь от старости лет, от глупости, а вам чего же: вы бойтесь, вам это надо.

— А мы уж привыкли бояться,— произнесла Наташа.— Теперь нам не страшно. А ты сам кто, ты откуда?

— Я дальний,— ответил старичок.— Верст двадцать отсюда будет: племхоз «Победа» не слыхала? А я оттуда, я там по племенному делу рассыльным агентом служу: куда что пошлют, что скажут — я готов. А нынче в колхоз «Общая жизнь» ходил, мне велели сказать, чтоб колхоз племенного бычка себе взял. Им бык полагается. Пускай погонщиков пошлют.

— Сказал?— спросила Наташа.

— Сказал. А сейчас вот назад ворочаюсь.

Антошка встал на ноги и с интересом рассматривал чужого маленького деда, стоявшего на вымокшей земле на коленях, с кошелкой на голове. Ливень перешел в сплошной частый дождь с пузырями, и молнии вспыхивали уже далеко в стороне, откуда гром не успевал доходить сюда.

— Ну, иди, нам быка давно в колхоз надо,— сказала Наташа.

Дед встал с земли и стал заправляться в дальнюю

дорогу. Он крепко привязал свою кошелку обратно за спину и снял шапку с головы.

— Вам не дойти,— сказал старик детям.— Там до рогу теперь распустило, там земля густая, добрая, а дождь, того гляди, припустится...

Он надел свою шапку на голову Антошки и, согнувшись, касаясь земли, велел ребенку полезать к нему в кошелку за спиной и там сидеть и держаться. Антошка сейчас же забрался туда, и ему стало в кошелке мягко и хорошо.

— А куда ты понесешь-то его?— быстро спросила Наташа, готовясь изо всех сил вцепиться в лицо старика.— Тебе кто наказал его брать?

— Понесу к отцу-матери его, куда же еще!— ответил дед.— На ваш колхоз. И тебя туда же.

Старик еще раз пригнулся, взял Наташу себе спереди на руки и пошел под дождем по дороге на «Общую жизнь», унося на себе двоих детей.

— Ты не бойся,— сказала Наташа брату, удобно сидевшему в кошелке против нее.— Я за ним буду глядеть.

— Он не как ты, он сильный,— сказал сестре Антошка.

У старика надулись жилы на шее, он сгорбился, дождь и пот обмывали его тело и лицо, но он шел привычно и терпеливо по грязи и по воде.

Дети молчали, ожидая, когда увидят свою избу в колхозе. Наташа боялась про себя, что, может быть, их двор уже сгорел от молнии. Старик из сбережения сил тоже ничего не говорил, лишь однажды он прошептал про себя:

— Спасибо, град не пошел. Он бывает с голубиное яйцо — побил бы детей.

Дождь лился мелкими, частыми каплями, грозы уже не было. И вскоре Наташа увидела сквозь дождь пряслот крайнего двора своего колхоза; она улыбнулась от радости. Значит, все было цело, и пожара нет, а то бы люди бежали на пожар. А может быть, их дом уже сгорел и потух, и Наташа опять загорюнилась.

Но вон ветла стоит, она растет около дома Наташи, она жива; вон соломенная крыша на ихней избе и труба с железным петушком... Наташа отвернула свое лицо от Антошки и осторожно вытерла его рукавом от дождя.

Около отцовского двора Наташа спрыгнула на землю. Антошку же старик внес в кошелке за спиной в самые сени избы.

В горнице родителей Наташи, пережидая дождь, сидело много людей. Отец Наташи угощал их чаем с сеяным хлебом и наложил полную сахарницу колотого сахара. Здесь был председатель колхоза Егор Ефимович Провоторов, дедушка, муж бабушки, и незнакомый человек, неизвестно кто, ненужный кто-нибудь.

Мать Наташи раздела дочь и Антошку и дала им на смену сухую одежду, обещая, что больше никуда их в гости сроду не пустит. А старичок, выжав с себя немного воды в сених, уже сидел за столом в горнице, пил чай и рассказывал, как было дело. Егор Ефимович его знал — старик из племхоза только что был у него нынче относительно быка.

— Как же так! — сказал Егор Ефимович, председатель, говоря отцу Наташи. — На дворе гроза, ливень, буря была, а ты детей в Панютино послал?

— Они ушли — еще ведро было, — тихо ответил отец.

— А после ведра враз буря нашла и гроза, — говорил Егор Ефимович, — а ребятишки могли не успеть добежать до Панютина. Вишь ты, как! А мы сидим здесь второй час балакаем, а ты и не вспомнил про девчонку с мальчишкой ни разу.

— Чего зря говорить! — с досадой ответил отец. — Не случилось с ними ничего, целыми пришли.

— Да это-то хоть так! — согласился председатель и поглядел на Антошку с Наташей, которые теперь стояли у притолоки и глядели на гостей. Мать их уже переодела во все чистое и сухое, и им было сейчас опять хорошо жить. — И родной дед, старый долдон, — говорил председатель, — знает, что к нему внук с внучкой в гости пошли, так он сам по грозе к зятю чай пить пришел и сидит не беспокоится...

Дедушка Наташи молчал и все другие люди тоже.

— Я спозаранку сюда в кооператив явился, — промолвил дедушка. — Хотел крючок сазаний купить, и к вашему шорнику у меня дело было, мы с ним кумовья... А в нашей многолавке нет тебе никаких крючков, вся рыба в реке цела живет, а мои снасти никуда стали. Думал в вашем кооперативе поживиться...

— Дело прошлое, — мирно произнес Егор Ефимо-

вич.— Дай-ка мне назад документ в племхоз, что я тебе давеча дал.— И председатель протянул руку к отцу Наташи.

Отец несмело выдал председателю бумагу.

— Гляди, Ефимыч, бык племенной, с ним надо уметь,— сказал отец.— Аль и быка теперь не доверяешь, что мои ребятишки намокли?

— Пока нет,— ответил председатель,— не доверяю.

— Так кто же тебе погонит-то?— интересовался отец.— В колхозе, кроме меня, едва ли кто отвечать за такое дело возьмется.

— А я вон с ним, может, слажусь,— указал председатель на старичка из племхоза, хлебавшего чай внакладку.

— Право твое,— согласился отец.— Ишь ты какой бдительный! Иль заботу о малолетних кадрах почувствовал? Но бык — дело одно, а девчонка с мальчишкой — совсем другое.

— Верно,— произнес председатель, пряча документ к себе, прочитав его весь снова.— Ребятишки — дело непокупное, и для сердца они больны, как смерть, а бык не то, быка и второй раз можно за деньги купить...

— Ух ты, во, гляди-ко! — с радостью всей своей души сказал вдруг старичок из племхоза и, отодвинув блюдце, нечаянно бросил себе в рот еще кусочек сахара.

Наташе с Антошкой надоело слушать разговор, и они вышли на крыльцо.

Дождь еле-еле капал. Стало мирно и сумрачно кругом повсюду; листья деревьев и трав, уморившись, висели спящими до будущего утра. Лишь далеко-далеко, в чужих и темных полях, вспыхивали зарницы, точно это смежались глаза у усталой тучи.

— Давай опять завтра к бабке в гости пойдем,— сказал Антошка сестре.— Я не боюсь теперь. Я люблю грозу.

Наташа ничего не ответила брату. Ведь он еще маленький, измученный, и ругать его нельзя.

Мать отворила дверь и позвала своих детей есть. Она уже сварила для них картошку и полила ее сверху яйцами, а потом сметаной. Пусть дети растут и поправляются.

ПО НЕБУ ПОЛУНОЧИ

Лейтенанта германского военно-воздушного флота Эриха Зуммера днем вызвали в штаб части и предложили приготовиться к дальнему ночному перелету на боевой машине; задание — строго секретно, маршрут перелета и пункт его окончания Зуммер получит у командира своего отряда перед стартом.

Зуммер вышел из штаба на улицу южно-баварской деревни. Он улыбнулся, вспомнив сугубо серьезное, глубоко-задумчивое выражение лица начальника штаба части, точно ему действительно было над чем задумываться, точно он не был всего лишь техническим исполнителем чужой воли, простым канцеляристом для чтения получаемых бумаг. Зуммер улыбался так же, как и грустил, — безмолвно и не меняясь в лице; он привык молчать, и впечатления жизни, естественно вызывающие в человеке смех, печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все более превращались во внутренние сдавленные переживания, незаметные ни для кого, безопасные и бесполезные. Ум и сердце молодого летчика по-прежнему были способны воодушевляться людьми, событиями, полетом машин, он мог любить друзей и возлюбленных и ожесточаться в ненависти против врагов и тиранов, но эти свои обычные способности Эрих Зуммер обнаруживал теперь лишь очень скромно, либо вовсе не обнаруживал их, — что самое лучшее, потому что открытые чувства и мысли человека становились для него все более смертельно опасными.

Даже любить для Зуммера стало невозможно. Год назад он жил в казарме под Лейпцигом, и ему понрави-

лась Клара Шлегель, девушка, служившая на кухне в военной столовой, и он приблизился к ней, подружился с ее семейством — отцом и матерью — и ходил в ее дом по вечерам, чтобы беседовать и гулять с этой девушкой, считая ее своей невестой и желая приучить ее к себе, чтобы она затем тоже полюбила его. Может быть, для самой любви ничего и не нужно, кроме двух любящих людей, но каждому из них необходимо удостовериться перед другим свою ценность, чтобы укрепиться в его сердце, и для этого привлекаются в свидетели, в доказательство любые прекрасные факты из постороннего мира, самого по себе неинтересного для сосредоточенного чувства любящих.

Видимо, чтобы доказать свой ум и оригинальность, Эрих сказал однажды Кларе о русских, испанцах и китайцах: «Они теперь самые лучшие, самые одухотворенные люди на всей земле». Клара проникательно посмотрела на Эриха и затем ответила ему, что офицеру с такими мыслями неуместно служить в германской армии и она сама позаботится, чтобы Эрих больше не работал в военной авиации.

«И вам будет безопасней, и мне спокойней,— улыбнулась Клара и добавила:— если я выйду за вас замуж когда-нибудь».

Зуммер понял, что Клара сообщит о нем в тайную полицию, и стал ждать ареста. Он более не посещал свою невесту и не видел ее,— не из боязни, а из грустного равнодушия, заполнившего Эриха, хотя жалость и приглушенная, опечаленная нежность к оставленной девушке сохранилась у него. Но подобное, похожее чувство Эрих испытывал ко всем людям, которые ему были близкими или милыми когда-то и которых он утратил из виду; их голоса таились в его сердце и воспоминании и глухо, почти безмолвно шептали ему о себе, точно жалуясь на свое сиротство без него.

Арестован Эрих Зуммер не был,— наверно, потому, что в тайной полиции тоже был беспорядок и там руки не дошли до него или схватили кого-нибудь другого вместо него: им же все равно, была бы лишь деятельность. В благородство или в остаток человечности Клары Шлегель Эрих верил мало. Ей не от кого было научиться и привыкнуть к этим вещам,— ей, захваченной фашизмом в тринадцать лет от роду, а он не успел ее ничему на-

учить, потому что только любил ее и считал это достаточным. Любовь же его была не чем другим, как только заботой о своей пользе и о своей радости, о своем наслаждении прекрасным существом, а не работой для спасения женщины-ребенка, наивной и неопытной, и уже тесной жестокой враждебной силой в грустную долю постоянного робкого напряжения, где жалкий ум ее будет способен только молчать и слушаться, но не думать, и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу...

Что же он сделал, Эрих Зуммер, ради облегчения будущей участи Клары Шлегель? Он рассердился на свою невесту и оставил ее; ему не понравилось, что она хочет сообщить о его антифашистских убеждениях в тайную полицию; он отказал ей в своей дружбе, обрек ее на одиночество, тогда как можно было бы приблизить к себе ее сердце столь тесно, что оно всю жизнь бы согревалось дыханием Эриха и никакие холодные, гибельные ветры не остудили бы его. Ее никто не взял за руку, чтобы увести с собою в новый будущий мир людей, существующий в Германии уже теперь в скрытых сердцах.

Но сейчас уже поздно заботиться о Кларе Шлегель. Прошел почти год, как Эрих Зуммер ее не видел, и восемь месяцев миновало со времени его отъезда из-под Лейпцига сюда, в Южную Баварию. И сегодня после захода солнца он улетит через Францию в Испанию, чтобы уничтожать своих друзей, чтобы громить народ бедняков, надеющийся, как сказал их земляк Дон-Кихот, на свет в будущем, а сейчас желающий лишь терпимой судьбы на своей земле.

Зуммер возвратился домой. Он снимал комнату в жилище крестьянина. В деревне, кроме Зуммера, жили еще человек двадцать офицеров из авиационных и танковых частей, расположенных поблизости. Крестьяне относились к военным терпеливо, но работали они теперь менее трудолюбиво и тщательно и жили как придется, лишь бы день прожить. Зуммер чувствовал тайное недовольство крестьян появлением военных частей в окрестности деревни. Огромная толпа вооруженных бездельников, занявшая пахотные поля под стоянки машин и постройку казарм, офицеры, поселившиеся в родных, отцовских домах земледельцев, гром и гул испытываемых машин в дотоле тихих, рожающих полях — все

это угнетало крестьян, и они жили среди родной земли, как на чужбине, точно готовясь вот-вот переселиться отсюда навсегда или умереть.

До вечера нужно было бы выспаться, но Эрих решил не спать, ему не хотелось тратить на сон свое последнее, прощальное время на родине. Он сел бриться к настольному зеркалу и увидел свое лицо: большой правильный нос, серые угрюмые глаза, светлые волосы с нехорошим рыжеватым оттенком, а нежная, слегка обветренная кожа усеяна мелкими коричневыми точками — Эрих был конопатый. В детстве поэтому Эриха дразнили «засиженным воробьями» и «дерьмом обрызганным».

— А ведь я похож на арийца,— подумал Зуммер.— Вот еще проклятое дело, надо бы нарочно изувечить себя, чтобы быть непохожим. Да и арийцев ведь нету на самом деле,— просто объявлено, что они есть, а кто скажет нет, того — железом по голове и в тюрьму. По такому способу можно заставить поверить и в гномов, и в кобольдов, и еще в кое-что невидимое, по, однако, злодейски действующее.

По стенам комнаты, которую снимал Зуммер, были развешаны фотографии и старые дагерротипы предков и родственников хозяина этого крестьянского дома, целые умершие поколения. Они были счастливец нынешних людей. Но почему?

Побрившись, Зуммер быстро сложил свои вещи в маленький, но емкий чемодан, вытер и проверил револьвер, положил его на виду и был уже готов к отъезду на аэродром. Прощающимися глазами он осмотрел комнату, в которой жил и которую едва ли когда посетит еще. Мучимый тоскующей мыслью, Эрих лег на кровать, чтобы отдохнуть, задуматься еще более и принять какое-либо решение, утешающее страдание.

Поколение крестьян, изображенных на фотографиях, смотрело на него со стены у кровати. Почему они были счастливее его?

«Я не понял Клары и оставил ее одну среди врагов. Я пришел в раздражение от одной ее случайной глупости, а где она могла научиться уму и чести?.. Ты и любить по-настоящему не можешь,— любят ведь только тогда, когда человек прощает любимому все, даже смерть от его руки, а ты не вытерпел, ты обиделся, ты -- подлец, ты ничего не понял, ты все превратил в свое обиженное

настроение, и ты сегодня улетаешь в Испанию бить народ тружеников, чтобы от него остались одни сироты и чтобы сирот затем превратить в рабов...»

Пустынный свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую, рабочую дорогу, уходящую на дальние пашни,— простую дорогу с колеями от колес, проложенную по мякоти земли. Крестьянин поехал по ней из деревни в отдаление; Эрих ждал, когда он обернется, но крестьянин не обернулся и скоро скрылся из виду. Две ракиты росли у той дороги, на выходе ее из деревни в поле; теплый ветер медленно шевелил их листья, и хлеб задумчиво рос по краям дороги. Это было все близко к людям и родственно им, но столь чуждо, столь уединенно в собственной, глубокой жизни, что лишь общее солнце соединяло судьбу людей и растений. Рожь и деревья живут серьезно и по своей необходимости, и им нет дела до того, что люди употребляют их плоды и их тело на то, чтобы жить за чужой, за их счет. Хлебным зернам нет дела до этого потому, что, когда их хотят уничтожить, они уже созрели и почти мертвы, они готовы пасть в землю, чтобы, разродившись, умереть там, и оттого действия людей для них не заметны.

— Но я ведь не мертв еще,— понимал Эрих Зуммер.— Мне двадцать восемь лет. И я хочу жить, потому что я умираю и потому что меня убивают.

Он знал, как обессилел его ум в молчании, в скрытности, в сдержанности, как оробело его сердце в скромности и страхе, не способное утешить даже одного человека,— например, Клару Шлегель, как одновременно с непосредственным чувством и ясной, истинной мыслью у него возникает торможение, подавление этого чувства и мысли, то покорное дрожание смирившейся согбенной жизни, которая даже свои бедствия ощущает как благо, как свою единственную возможную судьбу, и жизнь проходит в суете, но без действий, в заботе, но в бессмысленности, в ожидании окончательного смертельного удара — и в беззащитности.

Так что же это? Отчего в меня, в некоего Эриха Зуммера, весь мир посылает свои сигналы и природа сеет свои семена, а из меня ничего не происходит, не возрастает обратно в ответ, в отплату и в благодарность, точно я та нерожающая мертвая земля, в которой посеянные

семена, не оживая в зачатъе, лишь распадаются в прах и отравляют почву ядом погибшей, неистраченной силы, чтобы земля стала еще более бесплодной, чтобы она окаменела. Но трудно понять и правильно направить свою жизнь тому, кто не умирал ни разу и не был близок к смерти.

— Ничего, я и живу как умираю, поэтому я немного начинаю понимать, как мне следует теперь жить,— размышлял Эрих.

Он вспомнил сугубо секретный приказ о ночном дальнем перелете и улыбнулся глупости этих секретов. О том, что военные аэропланы посылаются отсюда в Испанию, знали все окрестные пастухи, их помощники и весь германский народ. Очевидное всегда делается по секрету, а явно сообщаются лишь никому ненужные, неинтересные пустяки.

Эрих снова лег на кровать и забылся до вечера.

Вечером за ним прислали из штаба автомобиль, и он поехал на аэродром. До аэродрома было всего километров десять по гудрону новой снивеллированной трассы. Эрих ехал и удивлялся: где росло раньше дерево, оно было теперь срублено, где ничего раньше не росло, теперь кое-что появилось: не то трава, не то темная каменная одежда, хранящая землю от размывания. И он ехал по знакомым местам, но поражался, как чужестранец: ему было понятно, почему здесь срублено дерево, а там положен дерн для укрепления откосов, но он хотел бы здесь, в деревенских полях, видеть еще старый, смиренный мир — ночные пашни, древние деревья у заросших канав, свет в окне деревенского жилища, где крестьянская семья сидит за столом и ужинает из общей чашки,— тот старый мир, возвращение в который означало бы по сравнению с фашизмом освобождение.

Зуммер велел остановить машину и вышел пеший на край дороги. Было уже темно, и огни нигде не светились из экономии керосина и электричества, лишь тревожный и вопящий голос пел где-то в отдалении, постоянный и волнообразный, похожий, что он поет из каменных недр природы, и поет оттуда вечно, так что по привычке его можно не слышать и жить, как в тишине. Это скулили на ближайшем опытном авиационном заводе испытываемые моторы, и им подвывала аэродинамическая труба: там готовили новые конструкции истребителей и бомбарди-

ровщиков. Надо всем миром поют сейчас эти трубы и воют новые моторы на испытательных стендах. Скоро и бомбы на землю будут падать столь часто и постоянно, что люди привыкнут к ним, перестанут их слышать, и жизнь им снова покажется тихой, а смерть от осколка бомбы обычной и естественной.

Зуммер приказал шоферу ехать дальше. Километрах в двух от деревни, вправо от дороги, был расположен концентрационный лагерь — четыре длинных барака, лишь на метр возвышавшиеся над землей; стены бараков были сложены из речного мягкого камня и ради экономии строительных материалов их всего клали в метр высоты, а остальным своим жилым объемом бараки уходили в грунт, так что они были, в сущности, большими землянками. Из сбережения железа никакой колючей проволоки вокруг концлагеря не имелось, и охрана лагеря состояла — про это слышал Эрих раньше — из старых прусских стражников и штурмовиков.

Заключенные в этом лагере работали на тяжелых земляных работах: они строили земляные насыпи для новых автомобильных дорог и планировали посадочные площадки для аэропланов. Эрих много раз видел, как работали арестованные: они рыли лопатами землю, и движения их походили на движения людей, живущих в сновидении. Глаза одних, побледневшие и выцветшие от постоянной тоски, испуганно и робко смотрели на постороннего, свободного человека, у других в глазах светилась жизненная ненависть к свободным, как своим врагам, — почти счастливое чувство.

Однако не за участие ли в улучшении жизни людей безвестные товарищи Эриха Зуммера томятся в этом тюремной лагере? Именно так, но тогда, следовательно, и само заточение людей, врагов фашизма, есть доказательство существования свободы в сердце и в мысли человека, и невольник представляет собою безмолвное обещание общего освобождения. Поэтому нынешняя неволя германского народа, может быть, есть лишь подготовка его близкой, будущей свободы.

— И мне бы надо быть в тюрьме, — желал Зуммер. — А я офицер фашистской армии.

На аэродроме стоял готовый к вылету отряд двухместных истребителей из пяти машин.

Отпив кофе со сливками, летчики и штурманы пере-

оделись в летную одежду, снарядились и выстроились фронтом для получения инструкций от командования. Выслушав инструкцию, летчики пошли к машинам. Инструкция была проста и заранее всем известна: лететь через Францию и Испанию, держась приблизительноной высоты потолка, садиться в Испании по указанию флагманской машины, в случае же, если какая-либо машина по непреодолимой причине вынуждена будет отделиться от группы машин, летчику следует достигнуть зоны генерала Франко самостоятельно, пользуясь расчетами своего штурмана.

На машину Зуммера штурманом был назначен Фридрих Кениг. Он должен не только сопровождать машину до Испании, но и остаться в экипаже вместе с Зуммером в качестве боевого штурмана, на все время войны. Зуммер знал Кенига около года: он летал с ним в тренировочных полетах и участвовал на маневрах. Как штурман Кениг был обыкновенный работник, даже плохой,— однажды при дневном, безоблачном небе на высоте полутора тысяч метров он перепутал ориентиры и дал Зуммеру ошибочный курс. Но зато в чистых, младенческих больших глазах Кенига постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма, свет веры, а также пронизательности и подозрительности, и он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и восторгу.

Зуммер, наблюдая Кенига, чувствовал иногда содрогание,— не оттого, что штурман верил в фашизм (вера в заблуждение постепенно обессиливает и умерщвляет верующего человека, так что пусть он верует), но оттого, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем словно прирожденными или естественными,— и Зуммер тогда содрогался.

Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кенига. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшего летчиков, у Кенига стояли слезы в глазах, слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну.

— И ты умрешь за отчизну,— сказал про себя Эрих Зуммер, усевшись на свое место пилота,— но умрешь не за ту отчизну, которую ты себе выдумал, а за мою, за всемирную отчизну, за всю разноцветную и голубую землю, которую ты хочешь покрыть коричневой глиной могил.

Машины одна за другой пошли в воздух и после короткого построения легли на курс вслед за флагманом. С привычным, но никогда не надоедающим наслаждением чувствовал Зуммер точную напряженную работу мотора. Эрих прежде, после окончания Мюнхенского политехникума, был механиком и затем конструктором в опытных авиамастерских. Он первый построил взрывобезопасные бензиновые баки для военных аэропланов. Эти баки состояли из системы трубок, заполняемых бензином, и подходили на водяной автомобильный радиатор; каждая трубка имела два специальных автоматических клапана, которые в момент порчи трубки перекрывали ее и этим отделяли трубку от всей системы. Такой способ был необходим на случай, если в бак попадет пуля противника, тогда бензин вытечет лишь из одной трубки, и даже если топливо загорится, то едва ли по малому количеству подожжет всю машину. Кроме того, свой бензиновый бак Зуммер предлагал помещать в машине таким образом, чтобы система трубок продувалась потоком воздуха,— этим достигалось столь сильное охлаждение горючего, что поджечь его любой пулей или даже непосредственно пламенем было очень затруднительно. И еще Зуммер предложил сделать несколько улучшений в моторной части аэроплана, не думая о пользе работы, но находя в ней утешение от своей тоски, точно занимаясь игрой, чтобы отвлечься от настоящей действительности.

Но спустя время это занятие творческой техникой ему надоело — нужно было или переменить одну игру на другую (например, начать улучшение автомобилей или радиоприемников), если хочешь чем бы то ни было утомить и растратить свою жизнь, либо, наоборот, начать жизнь всерьез и без всякой игры. И Зуммер больше не стал заниматься улучшением аэроплановых моторов, потому что ни хорошие, ни плохие моторы сами по себе не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности, или эта сущность убита, или искалечена. Может быть, эта сущность — наша

душа, и не известно в точности, что такое, но известно, что без нее общая жизнь человечества не состоится, и это подтверждается тем, что мы страдаем...

Машина шла высоко над Францией. Фридрих Кениг сидел позади Зуммера, касаясь ручки дублированного управления. Тихий, скромный свет горел над доской приборов, против Зуммера, и циферблаты приборов глядели оттуда на летчика с разным выражением своих лиц: одни — нахмурясь, другие — улыбаясь, третьи — важно шевеля усами стрелок, будто они нарядились в стариков. Эрих улыбнулся на свои циферблаты; они показались ему детскими рожицами, потомством, которое он нарочал от верной, любимой жены.

Летчик поглядел вверх на небо Франции — какое оно было здесь, над чужой, но милой и еще свободной страной. Вечные звезды сияли на небе, подобно недостижимому утешению. Но если это утешение для нас недоступно, тем более, следовательно, земля под небом должна быть для человека прекрасной и согретою нашим дыханием, потому что люди на ней обречены жить безвыходно.

— Я его убью,— решил Зуммер участь Кенига.— Он и они хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга, а это все равно что нас убить. Это хуже: это ребенок с выколотыми глазами. А мы хотим подняться над самими собой, мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле, потому что это для нас самое необходимое. Но чтобы приобрести это необходимое, следует перестать быть привычным к самому себе, постоянным, неподвижным, смирившимся человеком... Кениг вон ни в чем не чувствует нужды, и он летит сейчас со мной на завоевание мира, чтобы навсегда лишит земли и свободы тех, кто в них нуждается. Сам же он не нуждается ни в свободе, ни в душе, это ему не нужно. Ему вполне достаточно тюрьмы и могилы, но он оставил туда свободную дорогу только для нас. Он доволен, он уверен, что добыл для себя мировую истину, и теперь питается ею себе на пользу. А я бедняк, я печальный человек, я полон нужды и тоски по свободным людям. В этом наша разница с ним, и поэтому я убью Фридриха Кенига... Мне почему-то кажется, что я прав, а Кениг, наверно, думает, что он прав, но я уже не могу сдержать свою жизнь и убью

его. Пусть наша общая мысль и горе восстанут на их веру и одержимость.

Время ушло за полночь. Флагман вел сейчас группу машин с обычной крейсерской скоростью и на небольшой сравнительно высоте: он не желал изнашивать моторы форсировкой, сэкономил горючее и не опасался французов.

Французская земля лежала во тьме под машинами. Там, в деревнях и городах, в хижинах среди пшеницы и виноградников спал сейчас уставший за день народ.

Зуммер долго вглядывался в далекую землю, стараясь различить на ней какой-нибудь свет, доказывающий существование человека. Наблюдению, должно быть, мешала ночная пелена тумана, поднявшаяся с возделанных полей, надышанная влажными устами культурных растений. Но вот Зуммер заметил слабо светящееся пятно, еле движущееся по земле поперек курса самолета. Что это может быть? Зуммер догадался: это прожектор французского курьерского паровоза, идущего либо в Ниццу, либо к Пиренеям.

На доске приборов вспыхнула красная лампочка с надписью «штурман». Зуммер склонился немного вправо, где висел микрофон, соединяющий его со штурманом.

— Мы подходим к испанской границе,— сказал ему Фридрих Кениг.— Под нами впереди, на пересечении нашего курса, идет французский ночной экспресс к Средиземному морю. Если бы у нас были бомбы, мы бы могли сейчас немного снизиться,— смеясь, шутил Кениг,— и испытать французский паровоз на запас его прочности и на пробой...

— Я военный летчик, а не авантюрист,— ответил Кенигу Зуммер.

— А никто бы не узнал,— говорил Кениг в микрофон.— У французских поездов хорошие скорости, нужно только сбить паровоз, а состав потом сам сокрушит себя. И никто бы не узнал, нельзя было бы доказать, чей бомбил самолет — решили бы, что красный испанский или итальянский... а потом похоронили бы пассажиров и забыли...

Зуммер помолчал и ответил:

— Красные испанцы воюют только со своими врагами и на своей земле... А итальянцы, они наши союзники, но я передам нашему командованию, что вы их считаете

способными на бандитизм, а меня подговаривали напасть на французский экспресс...

Кениг умолк. Зуммер улыбнулся и сказал в микрофон:

— Слушайте, Кениг... А ведь мы, если на бреющем полете ударить изо всех наших трубок, мы можем перебить паровозную бригаду, повредить паровоз, и дальше поезд пойдет вслепую на свою смерть...

— Конечно, можно,— ободрился Кениг,— хорошо бы попробовать.

«Вот человек,— подумал Зуммер.— Нет, мне пора быть ангелом, человеком надоело, ничего не выходит».

Впереди от Зуммера, непоколебимо сохраняя дистанцию, шли четыре машины отряда, и гул мотора Зуммера сливался с ревом моторов всей группы машин, и это ровное, нерушимое пение походило на безмолвие, отчего летчика клонило в сон и спокойствие. Лишь патрубки моторов, извергая напряженное, рвущееся пламя, освещали на мгновение блестящие туловища мчащихся тяжелых птиц.

«Скоро Испания,— вспомнил Эрих Зуммер.— Мне пора». Он быстро вынул револьвер из кобуры и, обернувшись назад к штурману, почти не видя его, всадил в чужое тело пять пуль одной струей. Фридрих Кениг поник и привалился вправо к борту мертвой головой.

Флагманская машина стала набирать высоту. Пиренеи были покрыты мощным туманом; сверху под звездами туман казался черным: он собрался сюда на ночь из долин Франции и Каталонии, с теплых вод Средиземного моря и Атлантики.

Зуммер не последовал за флагманом; он шел на прежней высоте и сбавил обороты мотора, чтобы отстать. Выждав немного, Зуммер дал мотору максимальные обороты, затем нацелился своей машиной на удаляющуюся группу фашистских самолетов и помчался вслед, быстро нагоняя их.

Подошедши к группе самолетов снизу на близкую дистанцию и по-прежнему форсируя мотор, Зуммер, находясь уже под флагманом, резко задрал машину вверх и одновременно взял гашетку пулеметов. Из передней кромки плоскостей засветилось пульсирующее пламя пулеметных трубок, машина словно украсилась в огни иллюминации. Пули секущим потоком ударили по го-

ловному самолету флагмана — от винта до хвоста, — потому что Зуммер не отдавал руля высоты, пока его машина, поворачиваясь вокруг своей поперечной оси, не легла навзничь. В течение по крайней мере половины фигуры, сделанной Зуммером, его пулеметы вели снизу вспарывающую борозду вдоль всего туловища флагманского самолета, а также громили его плоскости и рулевое устройство. Перевернувшись вниз головой, Зуммер выключил пулеметы и ушел по горизонтали в обратную сторону от прежнего курса.

Удалившись, Зуммер сделал вираж, выправил машину и снова пошел вслед своему отряду. Эрих заметил, что машина флагмана на мгновение приостановилась в воздухе, свободно вывесилась в нем и затем вертикально, набирая ускорение, пошла вниз на камни Пиренеев, темная и умолкшая насмерть. Остальные три машины в воздухе обтекли своего флагмана и продолжали свой путь на сбавленной скорости, точно в размышлении, медленно выстраиваясь одна за другой. Зуммер погнался за ними, решив взять их пулеметами, с хвоста. Но штурман задней машины начал бить по Зуммеру со своего места из турельного пулемета. И вдруг он перестал стрелять, потеряв уверенность, очевидно, что он делает правильно, расстреливая немецкую машину и наблюдая, как напрямую, открыто, не защищаясь, его догоняет своя машина. И Зуммер ли сбил машину флагмана? Может быть, это ошибка и флагман сокрушен испанской машиной? — предполагал хвостовой штурман, бездействуя и следя за Зуммером.

Приблизившись и взяв немного высоты, Эрих Зуммер слегка опустил нос машины, а потом вновь тронул гашетку и начал рассекать изо всех трубок своих пулеметов задний самолет отряда. Винт на фашистской машине с разгона стал вмертвую, и, колебнувшись в неустойчивости, машина беспомощно завалилась к земле рыть себе могилу. Но передняя машина группы, занявшая место флагмана, перешла с крейсерской на максимальную скорость и глубоким виражом заходила навстречу Зуммеру, становясь в атакующее положение. Зуммер, не прекращая огня, дал весь газ в мотор, поставил наиболее выгодное зажигание и пошел точным прямым курсом в лоб противника, желая уничтожить его своим пулеметным огнем и добить ударом, винтом в винт, тело в тело,

взяв врага в таран. Противник Эриха, не успев занять выгодной боевой позиции, понял маневр Зуммера и стал резко набирать высоту. Он решил, вероятно, поразить Зуммера сверху. Однако, запροкинув машину, Зуммер очутился в хвосте противника и неотступно последовал за ним.

Зуммер лучше владел тяговой работой мотора, чем его противник, поэтому Эрих догонял противника, идущего на машине той же серии. Ведя огонь и преследование, Зуммер вспомнил про последний, живой самолет, который еще может его ударить. Он поискал его глазами в небе и увидел темный силуэт машины и сверкание огня из патрубков ее мотора далеко в стороне. Машина ушла из боя в бегство. «Жаль,— подумал Эрих.— Темно, полночь, фашисты уже близко, не догоню».

Резкий свет, как безмолвный взрыв, вспыхнул впереди Зуммера, и летчик зажмурился. «Я горю? Нет».— И Эрих отпустил гашетку, потянул ручку управления, сделал крутой виток петли, вырываясь из гибели, пошел обратным курсом и опомнился.

Машина противника, вращаясь и скручивая собственное пламя, бьющее из ее корпуса, уходила под ним вниз, чтобы вонзиться в землю или раздробиться о скалу.

«Кончено», — сказал Эрих и вздохнул с удовлетворением, как после выполненной мучительной работы. Он развернул машину и повел ее в Испанию. Небо теперь было пусто вокруг него.

По ту сторону Пиренеев лежал туман, Зуммер, сберегая горючее, не стал обходить его сверху, а вошел во влажную тьму и пошел сквозь нее прямым курсом. Он летел сейчас на уменьшенной скорости и рассчитывал свой путь, чтобы посадить машину на республиканскую землю. Можно было бы вскоре пойти на снижение, но, по соображению летчика, под ним находились предгорья Пиренеев, а туман, наверное, стлался до самой поверхности земли, стеснив тьму ночи в густой мрак.

Зуммер оглянулся на покойного штурмана; тот молчал, хотя еще недавно он был уверен в завоевании всего мира. Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира — они жизнь хотели превратить в игру и в этой игре выиграть; они предполагали в своем жалком сознании, что действительность — лишь шутка, и у них не достало

ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям, — так пусть же они спят мертвыми.

Зуммер увидел слабый свет. Он вышел туда, где светился свет, и увидел море, занимающееся рассветом будущего дня, первоначальной зарею нового времени. Зуммер повернул машину. Он понял, что вылетел в Средиземное море и миновал Каталонию.

Летчик пошел обратно к берегу земли. Клочья тумана, разрываемые винтом, проносились под машиной. Зуммер дал мотору полное, предельное число оборотов, и машина понесла его вперед с такою покорной и радостной мощью, точно Эрих летел в свое давно заслуженное, близкое, ожидающее его счастье.

Зуммер достиг земли и полетел над нею. Если море уже светилось перед рассветом, то здесь, над темными пятнами, было еще глухо и сумрачно, здесь шла ночь и продолжался сон народа, животных и растений...

Пролетев еще немного, Зуммер пошел на посадку. Туман действительно стлался до самой земли, словно рождался из нее, и Зуммер долго летел у поверхности почвы, почти бежал по ней, рискуя вонзиться либо в гору, либо в хижину земледельца или кочующего пастуха. Пролетев километра два, Зуммер повернул обратно и посадил машину на неизвестное поле, осторожно притерев ее к неровной земле.

Было еще совсем темно и сумрачно в ночном тумане. Зуммер потушил мотор и свет над доской приборов, положил револьвер себе на колени и задремал до рассвета.

Очнувшись от сна, он услышал отдаленный гул орудий. Летчик вышел из машины и оглядел местную землю. Уже наступило утро, и низовой туман, снедаемый светом солнца, свертывался, подымался немного вверх и рассеивался; тихий свет уничтожал туман, как его уничтожает вихрь, и обнажал простую непокрытую землю. Это был картофельный огород, через который пролегла дорога, взрытая тяжелыми повозками. Ботва картофеля слабо развилась от засухи, и много картофельных кустов было преждевременно вырвано из почвы: очевидно, люди выбирали недозревшую картошку, чтобы кормиться. Зуммер направился по дороге, желая встретить кого-нибудь или разглядеть какой-либо признак, чтобы узнать, чья это земля — республиканская или фашистская — и не заблудился ли он.

Пока Зуммер шел, утро распространилось повсюду, и земля стала далеко видна. К северу на горизонте были горы, к югу, километров за пять отсюда, лежали мягкие возвышенности, и оттуда шел волнообразный постоянный гул работающей артиллерии, точно там шло обычное промышленное предприятие.

Картофельное поле сменилось плантацией сахарной свеклы, а в стороне от дороги, среди зелени свеклы, Зуммер увидел бедный крестьянский дом, сложенный из известкового камня. Деревни поблизости не было видно, и в одиноком известковом доме жил, наверно, сторож этой плантации или ночевали крестьяне в рабочее время.

Эрих Зуммер пошел к тому жилищу. Еще не дойдя до него, он увидел ямы в земле от падавших сюда артиллерийских снарядов. Изгороди или каменной ограды вокруг дома не было, уцелевшая свекла росла прямо от стен жилища. Деревянная дверь лежала у крыльца дома, сброшенная наружу, и Зуммер сразу увидел, еще не войдя в дом, что внутри жилища ярко светит свет утреннего неба. Черепичная кровля и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома.

Внутри дома была всего одна комната. В ней было сейчас прибрано, чисто, кто-то уже убрал сор и обломки от разрушенного потолка. У входа стоял деревянный стол с пустым ведром для воды и скамья для отдыха, а в глубине жилища находилась большая семейная кровать. На той кровати сидел ребенок, мальчик лет семи или восьми, и смотрел на вошедшего Эриха Зуммера. Большие глаза ребенка были широко открыты, как утренний рассвет, но они глядели пусто, точно в них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уставился глазами на чужого человека, а сам не видел или не понимал летчика: во взоре ребенка не было ни страха, ни удивления, ни вопроса.

Эрих близко подошел к мальчику и спросил его по-испански (Зуммер знал несколько обыденных фраз):

— Где твоя мама?.. Она ушла за водой?..

Мальчик не ответил ему. Он сидел босой, в одних штанах, державшихся на пуговице и на ляжке через плечо, и без рубашки. Светлые глаза его, глядящие из большой младенческой головы, по-прежнему не выражали ничего,

будто он находился в сновидении или видел что-то другое, от чего не мог оторваться и чего не видел Зуммер.

Эрих поднял ребенка к себе на руки и пошел с ним к машине. Мальчик покорно сидел на руках Эриха и даже прильнул к его плечу в утомлении.

Солнечный день сиял над большими полями, не оставив более нигде следа ночи и тумана. Артиллерия гудела вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрогание земли.

Мальчик тихо пробормотал что-то про себя на плече Эриха и умолк. Зуммер дошел с ним до самолета и усадил ребенка в кабину на свое место. Затем он дал мальчику шоколад и велел ему есть, а сам занялся штурманом.

Эрих размундировал штурмана, открепил его от кресла, выволок наружу и бросил прочь на землю, а потом спустился сам из машины и отволок труп в сторону, в картофельную ботву. Крови из Кенига не вышло, и штурманское место осталось чистым.

Испанский мальчик покорно жевал шоколад, но забывал или не мог его глотать, поэтому весь рот ребенка был набит шоколадом, а он равнодушно жевал и жевал его дальше. Зуммер попросил мальчика глотать шоколад и показал ему, как нужно это делать, но ребенок не слушал летчика и не смотрел на него. Тогда Эрих достал фляжку с коньяком, полил его немного себе на пальцы, а остальное выпил. Вытерев пальцы, Эрих выбрал ими шоколад изо рта мальчика. Ребенок непонимающе смотрел перед собой, затем в глазах его появилось выражение внимания и даже интереса, и он начал бормотать неясные детские слова на родном языке. Поговорив, мальчик умолкал, как бы вслушиваясь, что ему говорит что-то изнутри его души, и опять начинал быстро говорить в ответ кому-то.

Зуммер сидел на полу кабины и слушал ребенка, стараясь понять его. А мальчик бормотал теперь почти не останавливаясь, он все более погружался в свой внутренний мир и в свое воображение; глаза его опять опустели, они смотрели открыто, но были как ослепшие, и ребенок уже вовсе не чувствовал сейчас ничего, что существует вокруг него. Вся его сила уходила в создание невидимого никому внутреннего мира, в переживание этого мира и в младенческое бормотание.

В тоске своей Зуммер видел, как этот ребенок, живой и дышащий, все более удалялся от него в свое безумие, навсегда скрываясь туда, умирая для всех и уже не чувствуя ничего живого вне себя, вне своего маленького сердца и сознания, съедающего самого себя в непрерывной работе воображения. Зуммер понимал, что безумие мальчика было печальнее смерти: оно обрекало его на невозвратное, безвыходное одиночество.

Но что случилось в мире перед его глазами, от чего этот ребенок был вынужден забыть всю природу и всех людей, чтобы сжаться в жалость своего безумия, как в единственную самозащиту своей жизни? Этого Эрих не мог в точности узнать, хотя и понимал, что современный мир войны и фашизма редко будет дарить детям что-либо другое, кроме смерти и безумия, а взрослым — то слабоумие, которым обладал Фридрих Кениг и обладает и будет, скажем, обладать Клара Шлегель.

Мальчик перестал бормотать и потер себе глаза обеими руками, точно стараясь проснуться, а потом опять начал говорить что-то шепотом, спеша и сбиваясь, и в этом тревожном спешащем шепоте была, как показалось Эриху, борьба с тайным страданием, желание утомить его и отдохнуть.

«Нет, я не оставлю его жить одного,— сказал Эрих.— Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер... Я буду работать и драться, я не устану и не погибну».

Он взял руку мальчика, погладил ее и поцеловал. Ребенок вдруг взглянул на Эриха, будто узнавая его, потом закрыл глаза и заплакал. Он опустил с кресла летчика на пол, доверчиво прикоснулся к Эриху и внятно сказал несколько слов, из которых Эрих понял или ему так почудилось, что мальчик хочет увидеть свою маму и просит Эриха отыскать ему ее.

— Ты увидишь свою маму, — сказал Эрих наполовину по-испански, наполовину по-немецки. — Мы отыщем ее, и ты будешь жить вместе с нею всегда.

Мальчик задумчиво и спокойно посмотрел на Эриха, словно он понял его и поверил ему.

Странный свет сверкнул в глаза Зуммера, и тяжелый удар воздуха пошевелил плоскости машины. Летчик увидел невдалеке, на картофельном поле, куски темной земли, уже падавшие обратно с воздуха вниз. Землю только что разорил и выбросил павший туда снаряд. Види-

мо, Зуммера заметила республиканская артиллерия и по типу машины его правильно приняла за немца. «Это хорошо, — подумал Эрих. — Следующим снарядом они разобьют меня».

Он усадил мальчика на место штурмана, прикрепил его лямками и поясом к сиденью, чтобы ребенок надежно держался на виражах и фигурах машины, а затем устроился сам на своем месте пилота.

Эрих приготовился к взлету и уже хотел нажать кнопку самопуска мотора, но, внимательно поглядев вперед, он раздумал запускать мотор. Впереди машины, приближаясь к ней, ехали по полевой дороге какие-то всадники, человек сорок или больше. Эрих посмотрел на них в бинокль и догадался по одежде и темным лицам, что это марокканцы, их кавалерийский отряд.

Зуммер пустил мотор и пошел вразбег, держа направление прямо на марокканцев. Машина быстро приблизилась к всадникам, и тогда Эрих, не отрывая самолета от земли, взял гашетку пулеметов и начал сечь огнем заматавшихся кавалеристов. Но пулеметы Зуммера через несколько секунд стрельбы замолчали: они истратили весь свой боевой запас.

Эрих выбрал ручку управления, оторвал машину и ушел в высоту — искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.

ЖЕНА МАШИНИСТА

Он возвратился домой к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать.

Жена ничего сначала не спросила у мужа; она подала ему таз с теплой водой для умыванья и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар.

За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым.

— Ты что это, Петр Савельич? — тихо спросила жена. — Иль случилось что с ним, боль и поломка какая?

— У него палец греется... — сказал Петр Савельич.

— Который палец? — в тревоге спросила жена. — В позапрошлую зиму он тоже грелся — тот или другой какой?

— Другой, — ответил Петр Савельич. — На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился, боялся, что в кривошипе получилась слабина и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть!

— А может, Петр Савельич, у тебя там на дышле либо в шатуне масло сорное! — сказала жена. — Ты бы заставил помощника профильтровать масло иль сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А этак-то куда ж оно годится...

Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой.

— Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу.

Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину всегда даю масло чистое и обильное, зря говорить нечего!

— А палец-то ведь греется! — упрекнула Анна Гавриловна. — Глядишь, он погрееется-погрееется, а потом и отвалится, вот и станет машина калекой!

— Пока я жив буду, пока я механик, у меня ничего не отвалится, — ни в ходу, ни в покое.

— Да ну уж — ничего у тебя не отвалится! — осерчала Анна Гавриловна. — Спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сирот — ведь пассажирский вел, двадцать седьмой номер-бис... Ешь уж щи, доедай начисто, а то прокиснут...

Петр Савельевич вздохнул и доел щи.

— Колеса с паровозных осей не соскакивают, — сказал затем механик. — Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу ослаб. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, отнюдь нет, Иван Матвеевич тут ни при чем: машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно.

— А у тебя бы он тоже соскочил? — попытала Анна Гавриловна.

Петр Савельич подумал и решил:

— У меня нет, у меня едва ли! Я бы учуял дефект.

— Ну и вот, а я про что же говорю! — довольно подтвердила Анна Гавриловна.

— Что — вот? — удивился Петр Савельич. — Мне шестьдесят два года осенью сравнялось, а тебе пятьдесят четыре, а ты мне «вот» говоришь... Стели мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу.

Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе.

— Уснешь, — говорила она, взбивая подушки, чтобы они стали пышными и покойными для сна. — Чего тебе не спать: должно, все тело затомилось на такой работе. Шутка сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельич, механик! Ляжешь вот тут и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо, — чего тебе нужно-то!

— Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна, — кротко сказал механик. — Я думаю, что палец в машине болит... А сейчас ночь, темно, мой напарник тяжеловесный состав ведет, думает ли он чего или просто глядит вперед, как сын!

Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя.

— А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельич, может быть, ничего и не случится. Он, палец тот, сначала погрется, а потом приработается — и греться перестанет: железо тоже свыкается друг с другом — терпит..

— Да какое там железо тебе! — негодуяще выразился Петр Савельич. — Тридцать лет с механиком живешь, а все малограмотная, как кочегар в банной котельной...

Анна Гавриловна здесь промолчала; она понимала, когда надо слушать своего мужа и когда наставлять его.

Они легли спать и лежали молча. Петр Савельич слушал — не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась, но в мире, пока что, было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью, грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени.

Семья Петра Савельича была небольшая: она состояла из него самого, его жены и паровоза серии «Э», на котором работал Петр Савельич. Детей у них долго не было: родился давно один сын, но он жил недолго и умер от детской болезни, а больше ребят не было. И теперь даже младенческий образ сына уже стусеван был в памяти родителей: время, как мрак, покрыло его и удалило в свое забвение...

Петр Савельич прислушался. Ночь шла тихо, но где-то в сенях или во дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверно, сейчас холод сгущал ночную изморозь и видимость ухудшалась, — интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Лет, должно быть, девятнадцать — двадцать. Столько же, пожалуй, что и сыну Петра Савельича и Анны Гавриловны, если бы он жил на свете.

Петр Савельич привстал на постели: тревожное предчувствие еще прежде ясной мысли обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтоб она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился: она привыкла следить за мужем и тихо думала о нем

все дни и ночи, чутко ощущая еще слышный запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке.

— Куда тебя домовой несет? — спросила Анна Гавриловна. — Метель утихла, палец в машине притерпелся, — чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ!

— Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет, — с терпением сказал Петр Савельич. — А без меня народ неполный!

— Да то как же! — рассердилась Анна Гавриловна. — Без тебя ведь весь свет пустой! А завтра, что ж, ты не спавши, значит, в рейс поедешь? Ну что ж, поезжай не спавши, — может, в хвост другому составу наедешь, либо весь паровоз на куски изувечишь, — тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру... Вот оно сразу все и кончится!

— Будет тебе свои нервы портить, — произнес Петр Савельич. — Там помощником нынче Кондрат поехал, малый молодой, просто еще юноша, и скоро им в обратный конец ехать...

— Ну и что тебе Кондрат, малый молодой? — спросила Анна Гавриловна.

— А то, — сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу, — а то, что им в обратный конец четыре затяжных подъема надо одолеть. Там нужно силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя все в котле и давление пара не падало, и уровень воды особо не понижался, — вот как надо котел содержать, понятно тебе стало?

— А чего ж тут и понимать-то? — сказала Анна Гавриловна. — Машина должна идти неугомонно, а пар упустишь, то она запыхается и станет...

— Ну вот, вроде верно, только неправильно: чем ей пыхать-то? — ответил Петр Савельич. — А Кондрат котел по тяге не удержит. Машину он любит, но знает в ней далеко не все. Да одну машину — это знать мало. Надо видеть всю целую природу — и погоду, и что у тебя на рельсах: мороз или жарко, и подъемы надо знать наизусть, и машина как себя чувствует сегодня...

— Пусть уж они без тебя там знают! — сообщила Анна Гавриловна. — Только нагрелся, а уж вылез! Окоченеешь наружи!

— Я у котла согреюсь, — пообещал механик. — Скоро

рабочий поезд пойдет, я на нем и встречу свою машину на четвертом разъезде: там подъем такой, что станешь вразтяжку и состав порвешь...

— Ты хоть еды-то возьми с собой, шут непокойный! — попросила жена.

— Я в буфете на вокзале пожую, — ответил Петр Савельич. — Ты спи себе в тепле и покое.

— С вами уснешь! — сказала Анна Гавриловна. — Вы даете покой, старые черти...

Но Петр Савельич уже гремел щеколдой в сенях, уходя в зимнюю ночь; он не обижался на жену.

Возвратился домой Петр Савельич не скоро — к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым стесняющимся человеком, помощником машиниста.

Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала и молча стала собирать им еду на стол.

— Мойтесь, чумазные трудящиеся! — пригласила она затем. — Вам бы и есть-то давать не надо: по вас вижу — поломали вы машину... Всё тяжеловесы они возят и носятся как бешеные, аж рельсы воют. Возили бы потише, полегче, и паровозы бы у вас здоровые были, как упитанные толстые дети! А то ишь — большой клапан придумали!

Петр Савельич и Кондрат оставили речь женщины без ответа. Им нечего было отвечать человеку, чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало, чувствуя себя в гостях. Петр же Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно.

— Ешь больше! — говорил он Кондрату. — От пищи горе скорее пройдет, в пище есть своя добрая душа, и когда съешь ее, она в нас очутится...

— Я ем, Петр Савельич, — произнес Кондрат.

— Ешь, — приглашал механик. — Потом спать ляжешь... Анна Гавриловна, постели сыну постель!

Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась.

— Который сын? — спросила она.

— Кондрат, — указал Петр Савельич. — Мы бездетные, а он без отца, без матери живет. Вот мы и квиты будем, он наш будет, а мы его — и все!.. Стели ему постель на диване и помалкивай!

Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату, но она не помалкивала, а шептала слова про себя: «Паровоз сломал, теперь малого в сыновья привел, ему только и дела, старому, что заботу мне выдумывать!»

Петр Савельич расслышал эти размышления жены, но смолчал.

— А паровоз наш где? — спросила Анна Гавриловна. Старый механик покряхтел в тягостном чувстве.

— Машина в ремонт пошла! — ответил машинист. — Болящий палец ей вывернули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось... Весь состав стал врастяжку на подъеме, его начали рвать вперед эти двое, Кондрат и его механик, и у них вышло происшествие, а тяги не получилось...

— Вот тебе раз! — воскликнула Анна Гавриловна. — Вот так сын Кондрат!

— Как же ты пальца-то не услышал! — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельич. — Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде!

— Форсировка большая была, — ответил Кондрат. — Гулко было, ничего не слышать...

— Ах так! — произнес Петр Савельич. — Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!

Анна Гавриловна поняла своего мужа. Она отвернула одеяло, положенное на диване для Кондрата, и подстелила туда пододеяльник, а подушку сбила в руках для мягкости: пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце затем само привыкнет его любить.

Когда Кондрат улегся и засопел в глубоком сне, Петр Савельич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая его юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые, запавшие глаза.

— Ты паровоз любишь, — произнес старый машинист, — и меня иногда вдобавок, надо и его любить.

Старая жена машиниста молчала.

— Когда я увидел, что машина у них совсем изуродовалась и заболела, — говорил и советовался с женой Петр Савельич, — я поругал машиниста, а Кондрату хотел уши нарвать, но потом передумал: пусть, думаю, живет, я его усыновлю и воспитаю, чтоб из него большой механик вышел...

Затем, вспомнив кое-что, старый машинист добавил:

— Ну вот что, поговорили — хватит. Ты поставь сейчас тесто, а завтра утром оладьев для Кондрата испе-
чешь. Его надо хорошо питать!

— А я хотела бы блинцов напечь, Петр Савельич,—
возразила жена.

Тут уж механик не стал спорить со своей женой.

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был вместо Драбанова определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС» единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления: я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно: ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину гото-

вой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, как пустые, отвлеченно, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу,— даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станет после нас, куда он полетел?

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени, и нас, посредством задержек, обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно: Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав — и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

II

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и пятого июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить сколь возможно опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу.

Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, — наоборот, на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза, видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца. Я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел? — удивился кочегар. — Я думал, котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слышали — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень утомился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже пагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы.

С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещающая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой неполадок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди во тьме — близко или далеко, нельзя было установить — красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву, он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — И протянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цве-

та, ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя!.. Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину. Я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы не дошли еще до того дома на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

III

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии,— сказал я следователю.— Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву,— рассуждал следователь.— Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнии Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно! — улыбнулся следователь.— Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы ж знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управления паровозом вам или по крайней мере не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь — Взрослый, сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь

сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было, — сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного, — в медленном размышлении сказал он. — Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич, — сказал я ему, — почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Всё: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал... Я и в пертарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал. Я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю, — о том, что, после того как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил, — ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове, это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, — это действие».

— Он прав, — сказал я.

— Прав, я сам знаю, — согласился машинист. — И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?
Я не знал, что ответить ему.

IV

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа — я скучал по Мальцеву.

Зимой я был в областном городе и посетил своего брата-студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них в университете есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет, мы освободили Мальцева. Приказ уже дан,— может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас.— Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, — говорил мне следователь. — Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение, — высказал я надежду, — как было тогда, после паровоза.

Следователь подумал.

— Едва ли. Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупец, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, — утешил я следователя. — Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невинность человека посредством его несчастья, — сказал следователь. — Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь, — объяснил я ему, — вы должны знать про человека все, — и даже то, чего он сам про себя не знает.

— Я вас понимаю, вы правы, — тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя.

— Спасибо, но я занят, я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни губительных обстоятельств, и эти губительные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, что не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам не зная, как это нужно сделать.

V

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими, слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла, и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Василье-

вича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился:

— Ладно. Я буду смиренным. Дай мне там в руки что-нибудь, дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить ты его не будешь! — подтвердил я. — Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля, а больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушал меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали таким же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку — и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет? — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ.

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

Шумели листья на дереве; в них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочущие слова.

Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра, о чем они говорят ему, и он спрашивал, обратив лицо к ветру:

— Ты кто? Что ты мне говоришь?

Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова.

— Ты кто? — спросил еще раз Егор, не видя никого.

Никто ему не отвечал более; ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево, и стало скучнее жить; нужно было идти домой, ужинать и спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия.

Он поднял жука, ползущего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо, в черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора и на весь свет.

— Ты кто? — спросил Егор у жука.

Жук не ответил ничего, но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким, он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то — неизвестно кто.

— Ты врешь! — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой.

Жук молчал; он со злою силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. Егора удивила настойчивая смелость жука, он полюбил его и еще более убедился, что это не жук, а кто-то более важный и умный.

— Ты врешь, что ты жук, — произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. — Ты не притворяйся — я все равно дознаюсь, кто ты такой, Лучше сразу откройся.

Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить.

— Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу. — И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу.

Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешком. И Егору стало вдруг скучно без жука. Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут, один только Егор будет помнить этого неизвестного жука.

Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба в землю, как домой с долгой дороги. На лист вполз сырой червь, отощавший и бледный.

«Кто же это такой? — озадачился Егор перед червем. — Он без глаз и без головы, о чем он думает?» — Егор взял червя и понес его к себе домой.

Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно.

Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не слышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь.

— Ты кто? — спросил Егор, приблизив червя к лицу.

Червь дремал, он не шевелился в разжатой руке. От него пахло рекою, свежей землей и травой; он был не-

большой, чистый и кроткий, — наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик.

— Отчего ты живешь? — говорил Егор. — Хорошо тебе или нет?

Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать; он хотел еще жить, играть с кем-нибудь, он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь — только начавшаяся, долгая, всю ее не проспешь; и если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят, и люди и травы, а проснувшийся человек бывает один на свете — его никто не видит и не помнит.

Червь лежал в руке Егора.

— Давай я буду тобою, а ты будешь мною! — сказал червю Егор. — Я тогда узнаю, кто ты, а ты станешь, как я, ты будешь человеком, тебе лучше будет.

Червь не соглашался; он, наверное, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор.

— Мне надоело быть все Егором и Егором, — говорил мальчик один. — Я хочу быть еще кем-нибудь. Проснись, червяк. Давай с тобой разговаривать — ты думай про меня, а я буду про тебя...

Мать услышала разговор сына и подошла к нему; она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем.

— Ты что там не спишь, бормочешь, шутоломный какой, — сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. — Спи. А то железная старуха ходит в поле в темноте, она ищет того, кто не спит, и с собой уводит.

— Мама, а она кто? — спросил Егор.

— Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается...

— А она кто?

— А кто же ее знает, сынок. Ты спи, — произнесла мать. — Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка.

— А где она живет? — узнавал Егор.

— Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложет, а когда кто помрет, она рада, она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дожидаться, когда все помрут и будет одна она ходить, же-

лезная старуха. Ну, спи теперь, она по дворам не ходит, я дверь запру...

Мать отошла от сына. Егор спрятал червяка под подушку, чтоб он там спал в тепле и ничего не боялся.

— Мама, а кто ты? — спросил он.

Но мать ничего не ответила ему; она решила, что Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет, ему уж, видно, дремлет.

«А кто я? — думал Егор и не знал. — Кто-нибудь я то же есть. Так не бывает, чтобы я был никто».

В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно. Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень, его поматывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти, и плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверное, быть деревом, оно живет на одном месте.

— Мама, — тихо позвал Егор, высунув голову из-под одеяла наружу. — Что такое клен?

Но мать уснула, никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак; окно, выходявшее в просяное поле, светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверное, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой?

Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно; прежний свет темной земли озарял стекло, но унылый, стонущий звук повторился опять — ехала ли то телега вдали или железная старуха шла по оврагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дождет, когда будет одна на свете. «Пойду, до всего дознаюсь, — решил Егор. — Что там ночью, кто старуха?»

Он надел штаны и ушел босой наружу.

Клен шевелил ветвями, собираясь тронуться в путь, лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал.

Ясные звезды светились на небе; их было так много, что они казались близкими, поэтому ночью под звездами было так же не страшно, как днем среди полевых цветов.

Егор миновал просо, прошел дремлющие, шепчущие подсолнечники и по брошенной, забытой дороге направился к оврагу.

Овраг был старый, его не размывала больше вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины.

Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем наверху земли, — ни травинка, ни лист не шевелились тут, — и ему стало страшно.

— Звезды, глядите на меня, — прошептал Егор. — А то я боюсь один.

Но из оврага было видно только три звезды, и те слабо мерцали на далекой, уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме.

Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха: ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтоб выбирать оттуда глину, и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного: он умирился за день жить и ходить.

«А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу», — сказал Егор сам себе и, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза.

Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая.

Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи, готовое быть и готовое исчезнуть.

— Ты кто? — спросил Егор. — Ты старуха?

— Старуха, — сказала старуха.

— А ты железная?.. Мне нужна железная.

— Зачем я тебе? — спросила железная старуха.

— Я хочу тебя увидеть — ты кто, ты зачем? — говорил Егор.

— Помирать будешь, тогда скажу, — ответил голос старухи.

— Скажи, я помру, — согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухе и осилить ее.

— Иди ко мне, я тебе скажу на ухо. — И старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа или хруста высохших костей. — Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда померешь. А то ты маленький, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти. Пожалей меня, я старая.

— А ты кто, ты скажи, — узнавал Егор. — Ты не бойся меня, я тебя не боюсь.

Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиной к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал:

— Я знаю, я знаю тебя. Мне тебя не надо, я тебя убью! — Он бросил в ее лицо горсть глины, и сам обмер, и прикинул к земле.

Но и обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи:

— Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел. Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься.

«Немножко боюсь, потом привыкну и перестану», — подумал Егор и забылся.

Он очнулся от знакомого тепла, его несли мягкие большие руки, и он спросил:

— Ты кто? Ты не старуха?

— А ты кто? — спросила его мать.

Егор открыл глаза и вновь зажмурил их: свет солнца освещал всю деревню, клен на их дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова.

— Ты зачем сбежал в овраг? — спросила мать. — Мы спозаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении...

Егор рассказал, что он боролся в овраге с железной старухой, но только не успел разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной.

Мать задумалась, потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого.

— Иди своими ногами, борец!.. Тебе это приснилось!

— Нет, я правда ее видел, — сказал Егор. — Железные старухи бывают.

— А может, и бывают,— произнесла мать и повела сына домой.

— Мама, а кто она?

— А я не знаю, я слыхала, я сама ее не видела... Люди говорят, что судьба, что ль, или горе наше ходит. Вырастешь, сам узнаешь.

— Судьба,— промолвил Егор, не зная, что она означает. — Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху...

— Поймай, поймай ее, сынок,— сказала мать.— Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их.

— Давай,— согласился Егор.— Я есть захотел, старухи сильные бывают. Я утомился от нее.

Они вошли в сени избы. В сенях по полу полз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой! — осерчал Егор.— Ишь ты! Кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь. И до старухи дознаюсь — сам стану железным стариком!»

Егор остановился в сенях и задумался: «Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она околет. А потом я железным не буду,— не хочу, я опять буду мальчиком с матерью».

В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА

I

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь земля как держит: то кровью к ней присыхаешь, то потом не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами до прошлогодней, умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан, — ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно.

Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогающую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки на сторону противника, а потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту, сторону открывается, а назад — нипочем, назад он стоит намертвую... Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле — ей хлеб пора рожать!

— Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

II

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.

В небе засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем неподвижным пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он слышал равномерное пение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки, однако древние камни, размером в целого человека, создавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чередою по всему перекату от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедленно устроить брод.

— Толом, что ль, грузные камни будем рвать?—спросил Расторгуев.

— Еще чего!— сказал Толокно.— Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает. А потом он тут нам половодье устроит...

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал командир.

— А силы хватит у нас?— усомнился Расторгуев.— Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело! Его и не расшатаешь, ишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал...

— Ничего, возле смерти человек сильнее,— высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и вьелись осколками в лед.

III

Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы: начать ниже переката затяжной маскировочный бой, а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя; они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со сноровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскачать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя, что нужно,— продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намочнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на пережат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и пережат не переставали покрывать редким минометным огнем — на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабила основание камня, сросшееся с ложем реки. Тогда Толокно велел четверем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться

в покой; сам же Толокно быстро вгоял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно!— сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекапу.

— Скорее, скорее давайте, ребята!— говорил он саперам.

Толокно сменил закоченевшего сапера, Трофима Пожидаева, и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее!— торопил командир.— Скоро танки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекапу кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного!— осерчал Толокно, сидя в воде, стругающей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно.— А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки — правые: одна камень долбит, а другая стреляет...

Подработанные сидни-камни трогались с вековых своих мест.

Разгромоздив перекап от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость

траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на пережат и там пожирали воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни жилищ и всякого добра?» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомяну, товарищ капитан, — ответил Толокно. — Сорок пар рубах от пота еще в мирное время соприели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер, седьмую одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут, и тело ничего! Дышит.

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и пехоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел на небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами.

IV

После полуночи всюду стало тише. Отвлекающий ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в отрытой дорожной траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи: ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому пережату.

Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды; а подхода машин к реке он не различил, столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них — вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак.

Иван Толёкно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную, заданную линию движения.

На полной скорости, с воем напряженных моторов, танки влетели в деревню с заглохшими, выморочными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь; но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на ту избушку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты, машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толёкно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди, по ходу машины, Толёкно разглядел неясное, темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небе шрапнели, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толёкно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

V

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ.

В рассветном сумраке лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию траншеи с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле,— он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за ними.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир.— Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал,— смирился Толокно.— Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...

— Ступай — зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, и чем глубже, в земле было теплее и покойней.

Наутро бой все еще гремел в деревне; капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на пояске и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом.

Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся: вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный

потоками овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напелало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокочущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек, теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине.

Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло: значит, танк прошел далее, пропустив под собою, меж гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за надкрылок и в краткий срок был в безопасности, на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает, — размышлял Толокно, — а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди, — может, они были из боевого охранения, а может, разведчики. Немцы остановили машину, потом

повёрнули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел оставить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает — жить хочет», — подумал он.

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команды, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уже больше не будет!

— Нет, — ответил Иван Толокно, — я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня!

ДЕВУШКА РОЗА

В рославльской тюрьме, сожженной немцами вместе с узниками, на стенах казематов еще можно прочитать краткие надписи погибших людей. «17 августа день именин. Сижу в одиночке, голодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года рождения. Семенов». Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначившее судьбу Семенова: «Расстрелян». В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери:

Не плачь, моя милая мама,
Не плачь, не рыдай, не грусти.
Одна ты пробудешь недолго
На этом ужасном пути...
Сижу за решеткой в темнице сырой,
И только лишь бог один знает —
К тебе мои мысли несутся волной,
И сердце слезой заливает.

Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение.

В углу того же каземата была надпись, нацарапанная, должно быть, ногтем: «Здесь сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека: жил на свете и томился некий Злов, потом его расстреляли на хозяйственном дворе в рославльской тюрьме, облили труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безыменном почвенном прахе.

Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной Розы: «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза».

Она — Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темно-синей краске стены; от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей — туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены.

Кто же была эта узница Роза, и где она теперь — здесь ли, на хозяйственном дворе тюрьмы, упала она без дыхания, или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской земли и опять она с нами — в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметил на тюремной стене, что жил такой на свете человек.

Следов существования Злова мы найти не сумели, но Роза и среди мучеников оказалась мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей. Узники, которых выводили на двор для расстрела, утешали себя воспоминаниями о Розе: она уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой; поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой, облили бензином и предали умерших сожжению; Роза не была тогда мертва, две пули лишь не опасно повредили кожу на ее теле, и она, укрытая сверху мертвыми, не сотлела в огне, она убереглась и опаматовалась, а в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла на волю через развалины тюремной ограды, обрушенные авиабомбой. Но днем Розу опять взяли в городе немцы и отвели в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично ожидая свою смерть.

Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собой и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение. У Розы были тонкие вьющиеся волосы темного цвета и большие младенческие серые глаза, освещенные изнутри доверчивой душой, а лицо у нее было милое, пухлое от тюрьмы и голода, но нежное и чистое. Сама же вся Роза была небольшая, однако крепкая, как мальчик, и умелая на руку; она могла шить платья и раньше работала электромонтером; только делать ей теперь нечего было, кро-

ме как терпеть свою беду; ей сравнялось девятнадцать лет, и на вид она не казалась старше, потому что умела одолевать свое горе и не давала ему старить и калечить себя, — она хотела жить.

Второй раз ждала Роза своей смерти в рославльской тюрьме, но не дождалась ее: немцы помиловали Розу. Немцы поняли, что если убить человека один раз, то более с ним нечего делать, и властвовать над ним уже нельзя; без господства же немцу жить неинтересно и невыгодно, ему нужно, чтоб человек существовал при нем, но существовал вполжизни, — чтоб ум у человека стал глупостью, а сердце билось не от радости, а от рабства — из боязни умереть когда велено жить.

Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала, а что знала, про то сказать не могла. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Для Розы приносили пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой бутылкой по груди и по животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство; потом Розу стегали гибкими железными прутьями, обжигающими тело до костей, и когда у нее заходило дыхание, а сознание уже дремало, тогда Розу «одевали в новое платье»: ее туго пеленали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступали наружу из тела узницы; потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу; она всех утомляла, — и следователя, и «мастеров того света».

Что же нужно было немцам делать дальше? Живая русская девчонка им не подчинялась; можно было бы ее мгновенно убить, но владеть мертвецами было бессмысленно.

Своею жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвергала сомнению и критике весь смысл войны, власти, господства и «новой организации» человечества. Такое волшебство не может быть терпимо — разве бесцельно и напрасно легли в землю германские солдаты?

Немецкий военный следователь задумался в рославльской тюрьме. Над кем разрешено будет властвовать, когда германский народ останется жить в одиночестве на большом кладбище всех прочих народов?

Следователь утратил свое доброе деловое настроение и позвал к себе «скорого Ганса», прозванного скорым за мгновенную исполнительность. Иоганн Фохт прежде долго жил в Советском Союзе, он хорошо знал русский язык. Следователь велел «скорому Гансу» принести сначала водки, а затем спросил у него — как надо организовать человека, чтоб он не жил, но и не умер.

— Пустяк дело! — сразу понял и ответил Ганс.

Следователь выпил, настроение его стало легким, и он велел Гансу сходить к Розе в камеру и проверить — жива она или умерла.

Ганс сходил и вернулся. Он доложил, что Роза дышит, спит и во сне улыбается, и добавил свое мнение:

— А смеяться ей не полагается!..

Следователь согласился, что смеяться Розе не полагается, жить ей тоже не надо, но убивать ее также вредно, потому что будет убыток в живой рабочей силе и мало будет назидания для остального населения. Следователь считал, что нужно бы из Розы сделать постоянный живой пример для устрашения населения, образец ужасной муки для всех непокорных; мертвые же не могут нести такой полезной службы, они вызывают лишь сочувствие живых и склоняют их к бесстрашью.

— Полжизни ей надо дать! — сказал «скорый Ганс». — Я из нее полудурку сделаю..

— Это что: полудурка? — спросил следователь.

— Это я ее по темени, — показал себе на голову Ганс, — я ее по материнскому родничку надавлю рукой, а в руку возьму предмет по потребности.

— Роза скончает жизнь, — сказал следователь.

— Отдышится, — убедительно произнес «скорый Ганс», — я ее умелой рукой, я ее до смерти не допущу..

«Он будет фюрер малого масштаба», — подумал следователь о Гансе и велел ему действовать.

Наутро Розу выпустили из тюрьмы. Она вышла оттуда в нищем платье, обветшалом еще от первых давних побоев, и босая, потому что башмаки ее пропали в тю-

ремной кладовой. Была уже осень, но Роза не чувствовала осенней прохладной поры; она шла по Рославлю с блаженной робкой улыбкой на прекрасном открытом лице, но взор ее был смутный и равнодушный, и глаза ее сонно глядели на свет. Роза видела теперь все правильно, как и прежде, — она видела землю, дома и людей; только она не понимала, что это означает, и сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каждым явлением.

Иногда Роза чувствовала, что она видит долгий сон, и в слабом, неуверенном воспоминании представляла другой мир, где все было ей понятно и не страшно. А сейчас она из боязни улыбалась всем людям и предметам, томимая своим онемевшим рассудком. Ей захотелось проснуться, она сделала резкое движение, она побежала, но сновидение шло вместе с нею, и окостеневший разум ее не пробудился.

Роза вошла в чужой дом. Там была в горнице старая женщина, молившаяся на икону богоматери.

— А где Роза? — спросила Роза; она смутно желала увидеть самое себя живой и здоровой, не помня теперь, кто она сама.

— Какая тут тебе Роза? — сердито сказала старая хозяйка.

— Она Роза была, — с беспомощной кротостью произнесла Роза.

Старуха поглядела на гостью.

— Была, а теперь, стало быть, нету... У немцев спроси твою Розу — там всему народу счет ведут, чтоб меньше его было.

— Ты сердитая, злая старуха! — здраво сказала Роза. — Роза живая была, а потом она в поле ушла и скоро уж вернется...

Старуха всмотрелась в нищую гостью и попросила ее:

— А ну сядь, посиди со мной, дочка.

Роза покорно осталась; старуха подошла к ней и опробовала одежду на Розе.

— Эх ты, побирушка! — сказала она и заплакала, имея свое, другое горе, а Роза ей только напомнила о нем.

Старуха раздела Розу, отмыла ее от тюремной грязи и перевязала раны, а потом обрядила ее, как невесту,

в свое старое девичье платье, обула ее в прюнелевые башмаки и накормила чем могла.

Роза ничему не обрадовалась и к вечеру ушла из дома доброй старухи. Она пошла к выходу из города Рославля, но не могла найти ему конца и без рассудка ходила по улицам.

Ночью патруль отвел Розу в комендатуру. В комендатуре осведомились о Розе и наутро освободили ее, сняв с нее красивое платье и прюнелевые башмаки; взамен же ей дали надеть ветошь, что была на одной арестованной. Дознаться, кто одел и обул Розу, в комендатуре не могли, — Роза была безответна.

На следующую ночь Розу опять привели в комендатуру. Теперь она была в пальто, с теплым платком на голове и посвежела лицом от воздуха и питания. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди, как героическую истину, привлекающую к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца.

Сама Роза об этом ничего не ведала, она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать.

Роза просила прохожих увести ее в поле, она не помнила туда дорогу; но прохожие в ответ вели ее к себе, угощали, успокаивали и укладывали отдыхать. Роза слушалась всех, она исполняла просьбу каждого человека, а потом опять просила, чтоб ее проводили за руку в чистое поле, где просторно и далеко видно, как на небе.

Один маленький мальчик послушался Розы; он взял ее за руку и вывел в поле на шоссе на дорогу. Далее Роза пошла одна. Дойдя до контрольного поста на дороге, где стояли двое немецких часовых, Роза остановилась возле них.

— Скорый Ганс, ты опять меня убьешь? — спросила Роза.

— Полудурка!— по-русски сказал один немец, а другой ударил ложем автомата Розу по спине.

Тогда Роза побежала от них прочь; она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка — там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние.

НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ

Человек, если он проживет хотя бы лет до двадцати, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни. Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными. Смерть вообще не однажды приходит к человеку, не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования, но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни — иногда с небрежным мужеством — одолевал ее и отдалял от себя будущее. Смерть победима, — во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз. Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель. И это высшее мгновение жизни, когда оно соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью.

Недавно смерть приблизилась ко мне на войне: воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух, последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик. Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь сохранилась во мне; она ушла из сердца и оставила темным мое сознание, однако она укрылась в некоем тайном, может быть, последнем убежище в моем теле и от-

туда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.

Я отогрелся под землю и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь, и при самой малой возможности он уже снова существует; ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу.

Я попробовал отгрестись от земли и выбраться наружу; но изнемогшее тело мое было теперь непослушным, и я остался лежать в слабости и во тьме; мне казалось, что и внутренности мои были потрясены ударом взрывной волны и держались непрочно, — им нужен теперь покой, чтобы они приросли обратно изнутри к телу; сейчас же мне больно было совершить даже самое малое движение; даже для того, чтобы вздохнуть, нужно было страдать и терпеть боль, точно разбитые острые кости каждый раз впивались в мякоть моего сердца. Воздух для дыхания доходил до меня свободно через скважины в искрошенном прахе земли; однако жить долго в положении погребенного было трудно и нехорошо для живого солдата, поэтому я все время делал попытки повернуться на живот и выползти на свет. Винтовки со мной не было, ее, должно быть, вышиб воздух из моих рук при контузии, — значит, я теперь вовсе беззащитный и бесполезный боец. Артиллерия гудела не вдалеке от той осыпи праха, в которой я был схоронен; я понимал по звуку, когда били наши пушки и пушки врага, и моя будущая судьба зависела теперь от того, кто займет эту разрушенную, могильную землю, в которой я лежу почти без сил. Если эту землю займут немцы, то мне уж не придется выйти отсюда, мне не придется более поглядеть на белый свет и на милое русское поле.

Я приноровился, ухватил рукою корешок какой-то былинки повернулся телом на живот и прополз в сухой, раскрошенной земле шаг или полтора, а потом опять лег лицом в прах, оставшись без сил. Полежав немного, я опять приподнялся, чтобы ползти помаленьку и дальше на свет. Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я

протянул руку в комья и сор земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, так же погребенного в этой земле, что и я, и так же, наверно, обессилевшего. Он лежал почти рядом со мною, в полметре расстояния: и лицо его было обращено ко мне, — я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня. Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит. Неизвестный молчал. Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты. Затем он спросил меня о том же, кто я такой и почему я здесь. Я ответил ему, что я русский рядовой стрелок и что я шел в атаку на немцев, пока не упал без памяти.

Рудольф Оскар Вальц умолк; он, видимо, что-то сообразил, затем резко пошевелился, опробовал рукою место вокруг себя и снова успокоился.

— Вы свой автомат ищите? — спросил я у немца.

— Да, — ответил Вальц. — Где он?

— Не знаю, здесь темно, — сказал я, — и мы засыпаны землею.

Пушечный огонь снаружи стал редким и прекратился вовсе, но зато усилилась стрельба из винтовок, автоматов и пулеметов. Мы прислушались к бою: каждый из нас старался понять, чья сила берет перевес — русская или немецкая, и кто из нас будет спасен, а кто уничтожен. Но бой, судя по выстрелам, стоял на месте и лишь ожесточался и гремел все более яростно, не приближаясь к своему решению.

Мы находились, наверно, в промежуточном пространстве, потому что звуки выстрелов той и другой стороны доходили до нас с одинаковой силой и вырывающаяся ярость немецких автоматов погашалась точной, напряженной работой русских пулеметов.

Немец Вальц опять заворочался в земле; он ощупывал вокруг себя руками, отыскивая свой потерянный автомат.

— Для чего вам нужно сейчас оружие? — спросил я у него.

— Для войны с тобою, — сказал мне Вальц. — А где твоя винтовка?

— Фугасом вырвало из рук, — ответил я. — Давай биться врукопашную.

Мы подвинулись один к другому, и я его схватил за плечи, а он меня за горло. Каждый из нас хотел убить или повредить другого, но, надышавшись земляным сором, стесненные навалившейся на нас почвой, мы быстро обессилели от недостатка воздуха, который был нам нужен для частого дыхания в борьбе, и замерли в слабости. Отдышавшись, я потрогал немца — не отдалился ли он от меня, и он меня тоже тронул рукой для проверки. Бой русских с фашистами продолжался вблизи нас, но мы с Рудольфом Вальцем уже не вникали в него; каждый из нас вслушивался в дыхание другого, опасаясь, что тот тайно уползет вдаль, в темную землю, и тогда трудно будет настигнуть его, чтобы убить.

Я старался как можно скорее отдохнуть, отдышаться и пережить слабость своего тела, разбитого ударом воздушной волны; я хотел затем схватить фашиста, дышащего рядом со мной, и прервать руками его жизнь, превозмочь навсегда это странное существо, родившееся где-то далеко, но пришедшее сюда, чтобы погубить меня.

Наружная стрельба и шорох земли, оседающей вокруг нас, мешали мне слушать дыхание Рудольфа Вальца, и он мог незаметно для меня удалиться. Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата, — от его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но неживой химией; шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитой овчиной. Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если бы он захотел уйти, потому что когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, — и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки, — и поэтому химический, мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.

Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.

— Ты зачем сюда пришел? — спросил я у Рудольфа Вальца. — Зачем лежишь в нашей земле?

— Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло

для германского народа, — с отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.

— А мы где будем? — спросил я.

Вальц сейчас же ответил мне.

— Русский народ будет убит, — убежденно сказал он. — А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед, а кто смиренный будет и признает в Гитлере божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощение на могилах германских солдат, пока не умрет; а после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.

Все это было мне приблизительно известно; в желаниях своих фашисты были отважны, но в бою их тело покрывалось гусиной кожей, и, умирая, они припадали устами к лужам, утоляя сердце, засыхающее от страха... Это я видел сам не однажды.

— Что ты делал в Германии до войны? — спросил я далее у Вальца.

И он с готовностью сообщил мне:

— Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера, теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества!

— В чем же будет спасение человечества? — спросил я у своего врага.

Помолчав, он ответил:

— Это знает один фюрер.

— А ты? — спросил я у лежащего человека.

— Я не знаю ничего, я не должен знать, я меч в руке фюрера, создающего новый мир на тысячу лет!

Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка, но голос его был равнодушен. И он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.

Я спросил его еще:

— А ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?

Фашист ответил:

— Вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.

— Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь,

то тебе все равно — что жить, что не жить! — сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его.

Над нами, поверх сыпучей земли, в которой мы лежали, началась пушечная канонада. Обхватив один другого, мы с фашистом ворочались в тесном комковатом грунте, давящем нас. Я желал убить Вальца, но мне негде было размахнуться, и, ослабев от своих усилий, я оставил врага; он бормотал мне что-то и бил меня в живот кулаком, но я не чувствовал от этого боли. Пока мы ворочались в борьбе, мы обмяли вокруг себя сырую землю, и у нас получилась небольшая удобная пещера, похожая и на жилище, и на могилу, и я лежал теперь рядом с неприятелем.

Артиллерийская пальба снаружи вновь переменялась; теперь опять стреляли лишь автоматы и пулеметы; бой, видимо, стоял на месте без решения, он забурился, как говорили красноармейцы-горняки. Выйти из земли и уползти к своим мне было сейчас невозможно — только даром будешь подранен или убит. Но и лежать здесь во время боя бесполезно — для меня было совестно и неуместно. Однако под руками у меня был немец; я взял его за ворот, рванул противника поближе к себе и сказал ему:

— Как же ты посмел воевать с нами? Кто же вы такие есть и отчего вы такие?

Немец не испугался моей силы, потому что я был слаб, но он понял мою серьезность и стал дрожать. Я не отпускал его и держал насильно при себе, он припал ко мне и тихо произнес:

— Я не знаю...

— Говори — все равно! Как это ты не знаешь, раз на свете живешь и нас убивать пришел! Ишь ты, фокусник! Говори, — нас обоих, может, убьет и завалит здесь, — я хочу знать!

Бой поверх нас шел с равномерностью неспешной работы: обе стороны терпеливо стреляли, ощупывая одна другую для сокрушительного удара.

— Я не знаю, — повторил Вальц. — Я боюсь. Я вылезу сейчас. Я пойду к своим, а то меня расстреляют: обер-лейтенант скажет, что я спрятался во время боя.

— Ты никуда не пойдешь! — предупредил я Вальца. — Ты у меня в плену!

— Немец в плену бывает временно и короткий срок, а у нас все народы будут в плену вечно! — отчетливо и скоро сообщил мне Вальц. — Враждебные народы, берегите и почитайте пленных германских воинов! — воскликнул он вдобавок, точно обращался к тысячам людей.

— Говори, — приказал я немцу, — говори, отчего ты такой не похожий на человека, отчего ты нерусский.

— Я нерусский потому, что рожден для власти и господства под руководством Гитлера! — с прежней быстротой и заученным убеждением пробормотал Вальц; но странное безразличие было в его ровном голосе, будто ему самому не в радость была его вера в будущую победу и в господство над всем миром.

В подземной тьме я не видел лица Рудольфа Вальца, и я подумал, что, может быть, его нет, что мне лишь кажется, что Вальц существует, — на самом же деле он один из тех ненастоящих, выдуманных людей, в которых мы играли в детстве и которых мы воодушевляли своей жизнью, понимая, что они в нашей власти и живут лишь нарочно. Поэтому я приложил свою руку к лицу Вальца, желая проверить его существование; лицо Вальца было теплое, — значит, этот человек действительно находился возле меня.

— Это все Гитлер тебя напугал и научил, — сказал я противнику. — А какой же ты сам по себе?

Я расслышал, как Вальц вздрогнул и вытянул ноги — строго, как в строю.

— Я не сам по себе, я весь по воле фюрера! — отпартовал мне Рудольф Вальц.

— А ты бы жил по своей воле, а не фюрера! — сказал я врагу. — И прожил бы ты тогда дома до старости лет, и не лег бы в могилу в русской земле.

— Нельзя, недопустимо, запрещено, карается по закону! — воскликнул немец.

Я не согласился.

— Стало быть, ты что же — ты ветошка, ты тряпка на ветру, а не человек!

— Не человек! — охотно согласился Вальц. — Человек есть Гитлер, а я нет. Я тот, кем назначит меня быть фюрер!

Бой сразу остановился на поверхности земли, и мы, прислушиваясь к тишине, умолкли. Все стало тихо, буд-

то бившиеся люди разошлись в разные стороны и оставили место боя пустым навсегда. Я насторожился, потому что мне теперь было страшно; прежде я постоянно слышал стрельбу своих пулеметов и винтовок, и я чувствовал себя под землей спокойно, точно стрельба нашей стороны была для меня успокаивающим гулом знакомых, родных голосов. А сейчас эти голоса вдруг сразу умолкли. Для меня наступила пора пробираться к своим, но прежде следовало истребить врага, которого я держал своей рукой.

— Говори скорей! — сказал я Рудольфу Вальцу. — Мне некогда тут быть с тобой!

Он понял меня, что я должен убить его, и припал ко мне, прильнув лицом к моей груди. И втихомолку, но мгновенно он наложил свои холодные худые руки на мое горло и сжал мне дыхание. Я не привык к такой манере воевать, и мне это не понравилось. Поэтому я ударил немца в подбородок, он отодвинулся от меня и замолк.

— Ты зачем так нахально действуешь? — заявил я врагу. — Ты на войне сейчас, ты должен быть солдатом, а ты хулиганишь. Я сказал тебе, что ты в плену, — значит, ты не уйдешь, и не царапайся!

— Я обер-лейтенанта боюсь, — прошептал неприятель. — Пусти меня, пусти меня скорей — я в бой пойду, а то обер-лейтенант не поверит мне, он скажет — я прятался, и велит убить меня. Пусти меня, я семейный. Мне одного русского надо убить.

Я взял врага рукою за ворот и привлек его к себе обратно.

— А если ты не убьешь русского?

— Убью, — говорил Вальц. — Мне надо убивать, чтобы самому жить. А если я не буду убивать, то меня самого убьют или посадят в тюрьму, а там тоже умрешь от голода и печали, или на каторжную работу осудят — там скоро обессилеешь, состаришься и тоже помрешь.

— Так тебя тремя смертями сзади пугают, чтобы ты одной впереди не боялся! — сказал я Вальцу.

— Три смерти сзади, четвертая смерть впереди! — сосчитал немец. — Четвертой я не хочу, я сам буду убивать, я сам буду жить! — вскричал Вальц.

Он теперь не боялся меня, зная, что я безоружный, как и он.

— Где, где ты будешь жить? — спросил я у врага. — Гитлер гонит тебя вперед страхом трех смертей, чтобы ты не боялся одной четвертой. Долго ли ты проживешь в промежутке между своими тремя смертями и нашей одной?

Вальц молчал; может быть, он задумался. Но я ошибся — он не думал.

— Долго, — сказал он. — Фюрер знает все, он все сосчитал — мы вперед убьем русский народ, нам четвертой смерти не будет.

— А если тебе одному она будет? — поставил я вопрос дурному врагу. — Тогда ты как обойдешься?

— Хайль Гитлер! — воскликнул Вальц. — Он не оставит мое семейство: он даст хлеб жене и детям — хоть по сто граммов на один рот.

— И ты за сто граммов на едока согласен погибнуть?

— Сто граммов — это тоже можно тихо, экономно жить, — сказал лежащий немец.

— Дурак ты, идиот и холуй, — сообщил я неприятелю. — Ты и детей своих согласен обречь на голод и смерть ради Гитлера.

— Я вполне согласен, — охотно и четко сказал Рудольф Вальц. — Мои дети получают тогда вечную благодарность и славу отечества.

— Ты совсем дурной, — сказал я немцу. — Неужели целый мир будет кружиться вокруг одного ефрейтора?

— Да, — сказал Вальц, — он будет кружиться, потому что он будет бояться.

— Тебя, что ль? — спросил я врага.

— Меня, — уверенно ответил Вальц.

— Не будет он тебя бояться, — сказал я противнику. — Отчего ты такой мерзкий?

— Потому что фюрер Гитлер теоретически доказал, что человек есть грешник и сволочь от рождения. А так как фюрер ошибаться не может, — значит, я тоже должен быть сволочью.

Немец вдруг обнял меня и попросил, чтоб я умер.

— Все равно ты будешь убит на войне, — говорил мне Вальц. — Мы вас победим, и вы жить не будете. А у меня трое детей на родине и слепая мать. Я должен быть храбрым на войне, чтобы их там кормили. Мне нужно убить тебя, тогда обер-лейтенант будет доволен, и он даст обо мне хорошие сведения. Умри, пожалуйста!

Тебе все равно не надо жить, тебе не полагается. У меня есть перочинный нож, мне его подарили, когда я кончил школу, я его берегу... Только давай скорее — я соскучился в России, я хочу в свой святой фатерланд, я хочу домой, в свое семейство, а ты все равно никогда домой не вернешься...

Я молчал; потом я ответил:

— Я не буду помирать за тебя.

— Будешь! — произнес Вальц. — Фюрер сказал: русским — смерть. Как же ты не будешь?

— Не будет нам смерти!! — сказал я врагу, и с беспомощностью ненависти, возродившей мощь моего сердца, я обхватил и сжал тело Рудольфа Вальца в своих руках. Затем мы в борьбе незаметно миновали сыпучий грунт и вывалились наружу, под свет звезд. Я видел этот свет, но Вальц глядел на них уже неморгающими глазами: он был мертв, и я не запомнил, как умертвил его, в какое время тело Рудольфа Вальца стало неодушевленным. Мы оба лежали, точно свалившись в пропасть с великой горы, пролетев страшное пространство высоты молча и без сознания.

Маленький комар-полуночник сел на лоб покойника и начал помаленьку сосать человека. Мне это доставило удовольствие, потому что у комара больше души и разума, чем в Рудольфе Вальце — живом или мертвом, все равно; комар живет своим усилием и своей мыслью, сколь бы она ни была ничтожна у него, у комара нет Гитлера, и он не позволяет ему быть. Я понимал, что и комар, и червь, и любая былинка — это более одухотворенные, полезные и добрые существа, чем только что существовавший живой Рудольф Вальц. Поэтому пусть эти существа пережуют, иссосут и раскрошат фашиста: они совершат работу одушевления мира своей кроткой жизнью.

Но я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни травы.

ИВАН ВЕЛИКИЙ

Ранней весной, накануне света и тепла, бывают в природе печальные дни, — они грустнее, чем осеннее время. Темная земля бывает уже обнажена для солнца, но солнце еще бессильно согреет ее сквозь серый холодный покров облаков, и земля прозябает в унылом терпении. В эти дни кажется, что весна и лето еще будут не скоро и до них не доживешь.

В такой именно скучный день над пустым весенним полем шел артиллерийский бой. Наша пехота безмолвно таилась в траншеях, отрытых еще немцами, когда они занимали этот рубеж.

Обычно враги обстреливают из пушек свои оставленные рубежи, понимая, что мы можем поселить своих солдат в траншеях, отрытых прежде фашистами. Но мы, понимая немцев, обычно не расселяем свои войска в траншеях, оставленных противником. А когда враги, проведав об этом, перестали обстреливать оставленные траншеи, считая их пустыми, мы начинали иногда пользоваться ими.

Командир роты старший лейтенант Юхов наблюдал из-за укрытия работу огня. Темная, безродная в это время года земля вскрикивающим, не своим голосом отзывалась на ревущие удары пушек. Никого не было сейчас на земле меж нами и противником. Только редкая прошлогодняя былинка, уже окоченевшая в смерть, еще подрагивала от сотрясения воздуха, однако она была уже не жилица на свете. Но одно странное существо спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле. Юхов всмотрелся в отдаление. По земле тихо шла

маленькая серая русская лошадь. Над нею неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды, и огонь разрывов блистал справа и слева от нее, а лошадь шла понемногу вперед по этому коридору войны. Старший лейтенант взял бинокль и подробно разглядел двигающуюся лошадь. Глаза ее были полузакрыты в утомленной дремоте, плечи и холка потерты и круп иссечен в полосы высохшей черной крови. Брюхо лошади впало внутрь от голода и работы, всосанное оставшимся тощим телом вместо еды, и весь скелет лошади словно уже прорастал наружу сквозь ее пораненную тягостной работой, истертую упряжью изрубцованную кожу. Уставшее предсмертной мукой животное брело меж пушек, бьющих встречным огнем поверх ее изнемогшего тела.

Один немецкий снаряд разорвался меж нашей передовой линией и одинокой лошадью. Лошадь припала на передние ноги и осталась на месте, готовая умереть.

К старшему лейтенанту Юхову подошел по ходу сообщения старшина Иван Гурьевич Петров.

— Скоро на дело пойдем, товарищ старший лейтенант? — спросил старшина Петров.

— Жду сигнала, старшина, — сказал командир. — Как у тебя люди?

— Люди живут нормально, товарищ старший лейтенант... Это что же там, — фашисты нашу лошадь замучили в обозном котле, а теперь помирать ее бросили?

— Стало быть, так, старшина, — ответил Юхов. — Она ослабла, и немцы отпрягли ее при отступлении, а бывает, что и отпрягать некогда, тогда рубят постромки, лошадь падает, и ее затапывают. Видал такое?

— Все видал, товарищ старший лейтенант, на войне живу, — произнес старшина. — Жалко скотину.

Пушечная стрельба стала замирать, но привычные к пальбе офицер и солдат уже и прежде не вслушивались в работу артиллерии и внимательно наблюдали за лошадью.

Сигнала к выступлению пехоты все еще не было, и Юхов решил, что наша артиллерия стреляла, может быть, для отвлечения противника, а немецкая только отвечала ей, — сам же наступательный бой назначен нашим командованием в другом месте.

Серая русская лошадь, припав на передние ноги, по-прежнему неподвижно находилась на промежуточном

пустом пространстве. Но и задние ноги ее уже начали слабеть и тоже медленно сгибались, пока вся лошадь не прилегла к материнской поверхности земли. Голову свою лошадь покорно положила на передние согбенные ноги и смежила глаза.

День теперь ободнялся, стало светлее, чем было, и многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из окопов за умирающей лошадей. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего: у врага здесь был только артиллерийский заслон, да жидкая пехота из старых возрастов — тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакивали своих погибших сыновей, а теперь сами пришли на место их и скучают по оставленным внукам. Но любой фашист, пока он не убит, считает себя до тех пор обиженным, пока весь свет еще не принадлежит ему и все добро мира еще он не снес в одно место, к себе во двор. Красноармейцы давно знали это природное свойство фашистов — жить лишь им одним на земле, убивая всех прочих людей, и потому красноармейцы были с неприятелем всегда осмотрительны.

И теперь они тоже лишь осторожно и изредка поглядывали на погибающую лошадь, хотя их крестьянское сердце болело по умирающей кормилице-работнице. Да и на войне лошадь тоже находится при деле, ей тоже есть тут своя обязанность: где ни одна машина не пройдет, там конь проберется рядом с солдатом. А когда скучно и трудно солдату, он поглядит в добрую морду лошади, скажет ей: «И ты со мной терпишь? Давай вместе до победы», — и тогда легче станет солдату.

— Еще не вовсе старая скотина! — сказал боец Никита Вяхирев соседу Ивану Владыко. — От нее еще польза должна быть.

— Пожилая только, — ответил Иван Владыко, наблюдая изнемогающую лошадь. — Работать бы сполна можно на ней, если тело ей дать и ласку добавить — у лошадей сердце большое, они все чувствуют.

Ефрейтор Прохоров полагал, однако, иначе:

— Нету, с этой скотиной делать более нечего — с ней забота не окупится. Если уж немцы ее бросили и шкуру с нее не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил и жилы в ней посохли.

— Беда с фашистами, — сказал усатый красноармеец Свиридов, доброволец с начала войны. — Ишь как

скотину работой выколотили, аж остья костей из нее наружу выпирают. Им что — лошадь же наша, русская...

— Им все нипочем, — сказал Иван Владыко. — Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стельных коров под нож и на закуску поели, пахотных тягловых коней по всем дорогам замертво положили. К спеху, под корень надо фашиста кончать, гной из него вон!

Солдаты умолкли и задумались, стоя в земле лицом к противнику, освещенные робким светом весеннего смутного неба. Лошадь умирала долго перед ними. Ее терпеливое рабочее сердце в одиночестве билось сейчас против смерти. И, поглядывая изредка в бинокль, старший лейтенант Юхов долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает; иногда она приподнимала голову и затем вновь поникала ею, иногда дрожь страдания проходила по ее телу, и она шевелила обессилевшими ногами, пытаясь подняться и снова пойти по земле.

Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ гибели. Один раз лошадь вовсе приподнялась вполовину своего роста, но затем неохотно опустилась вновь. Она не хотела умирать, она хотела еще ходить по земле, чтобы пахать землю и тянуть военные повозки, утопая почти по грудь в тяжелой сырой земле. Она, должно быть, на все была согласна; она согласна была повторить всю свою трудную прожитую участь, лишь бы опять жить на свете. Она не понимала смерти.

Красноармейцы глядели на эту мученицу работы и войны и понимали ее судьбу.

— Не понимает, оттого и мучается, — сказал Свиридов. — И пахарем была, и на войне служила, а все ж не человек и не солдат.

— Она душой не мучается, она только телом томится, — сказал Иван Владыко.

— Мучается, — подтвердил Свиридов, — потому что смерти боится, в ней сознания мало. А без сознания всякое дело страшно.

— Довольно тебе, — строго сказал старшина Петров. — Сколько там в ней сознания, мы не знаем, ты видишь — она кончается, а раньше землю в колхозе на нас пахала... А что нам полагается знать? А ну, кто

скажет важное что-нибудь, что нужно солдату знать?

— Важное, товарищ старшина? — переспросил Владыко. — Нам тут коня стало жалко...

— Коня пожалели? — произнес старшина. — Верно жалеешь, солдат. Это наш конь и земля наша, повсюду тут наша Родина, жалей и береги ее, солдат... А что-то здесь птиц наших не слышать — весна уж, а птиц нету?.. Чего-то я птиц не слышу!

— Дальше вперед уйдем, тогда позади нас в тишине и птицы объявятся, товарищ старшина, — сказал Никита Вяхрев. — А то мы огнем дюже шумим.

Иван Владыко знал важное в жизни солдата, самое важное в ней, потому что ему приходилось переживать и чувствовать это важное, но он не мог бы сказать сразу и ясно, что это такое. Он молча поглядел вперед. Лошадь лежала на поле, умолкшая и неподвижная.

Командир роты Юхов теперь уже и в бинокль не мог рассмотреть ни одного слабого движения ее жизни.

В вечерние сумерки Юхов позвал к себе старшину и Ивана Владыко. Он сказал им, что нужно было бы посмотреть ту лошадь поближе — она ведь не убита и только замерла от слабости; может быть, она еще жива, и тогда ее следует оттащить на нашу сторону, подстелив под ее тело рогожки и мешки, чтобы не вредить напрасно ее кожу о землю. А на нашей стороне ее можно будет выходить и определить в обоз батальона — пусть еще повоюет нам на помощь.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите, я сперва один подберусь к тому коню, — попросился Иван Владыко. — Как завечереет вовсе, я к нему доползу и послушаю, есть ли в нем дыхание. Если дыхание в нем осталось, я тут же ворочусь и ребят на помощь возьму.

— Действуйте. Это лучше, — согласился Юхов.

Как ночь стемнела, Иван Владыко осмотрел автомат, взял гранату и пошел припадающей перебежкой к лежащей лошади.

Незадолго до нее он лег и пополз, потому что ему послышалось, что лошадь стонет, но он не поверил, что лошадь еще так сильно жива, что может громко стонать, и стал остерегаться.

Во тьме, приблизившись к самому телу коня, Иван Владыко явственно расслышал его томящийся стон.

Иван вслушался и различил долгое, трудное дыхание лошади и шепот человеческих голосов.

Иван взялся за гранату, но раздумал ее метать: он побоялся вместе с неприятелем умертвить свою лошадь.

Желая точнее понять обстановку, Владыко осторожно приподнялся и увидел мгновенный свет впереди, ослепивший его. Над его телом, вновь приникшим к земле, пошли очередью длинные пули. Он вспомнил про атаку и рукопашный бой, что был третьего дня. Он шел тогда в цепи своего взвода, он видел, как пали за смертью от его автомата два немца, а третьего он сразил вручную ложем своего оружия, находясь уже в тесноте навалившихся на него врагов. Он понял в тот час, что там и будет его смерть; однако в то время он почувствовал не страх или сожаление, но счастливое важное сознание своей жизни и спокойную правдивость на сердце. Иван Владыко вышел из того боя невредимым, навеки запомнил свое важное сознание солдата в то краткое смертное время сражения, хотя и не мог ясно рассказать о нем сегодня старшине.

Иван Владыко, выждав, пока прекратилась автоматная очередь, вскочил в рост с гранатой в руке и бросился вперед. Два темных врага встали против него из-за тела лошади. Они кратко без веры выстрелили в мрак, но Иван уже был подле них и с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, за горло, под скулами, а в другого бросил гранату с неотпущенной чекой.

— Кидай оружие туда, в ночь! — приказал Иван противникам, но они не поняли его, и тогда Иван сам отобрал и бросил их автоматы прочь во тьму.

— Иван, — тихо сказал один немец.

Иван Владыко знал, что немцы всех красноармейцев называют Иванами и вся Красная Армия для них один великий Иван.

— Я Иван Владыко! — ответил он пленникам. — Сидите пока что смирно.

— Иван Великий, — произнес немец неправильно фамилию.

Владыко склонился к морде коня и послушал у его ноздрей, дышит ли он еще или уже скончался. Слабое редкое тепло исходило из его ноздрей, он еще был при жизни.

— Выходим его обратно, — решил Владыко.

Затем он повел руками по шерсти лошади и присмотрелся к ней. Глаза его уже привыкли к ночи, и он видел ими. В одном месте у крестца на шее шкура лошади была надрезана и завернута наружу, и тощая сухая кровь непрерывно сочилась оттуда. Владыко понял, что враги начали драть коня на шкуру и оттого конь застоялся, чувствуя жизнь от боли.

— Зачем же вы коня живого драть начали? — сказал Владыко немцам. — Везде вы свою пользу ищите. Смотрите, как бы убытка вам кругом не нажить...

Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом, и безмолвная пехота пошла цепями вперед.

— Наша атака, — помнил Иван Владыко. — Теперь коня тревожить не надо, он сейчас будет на нашей стороне. Мы его выходим помаленьку, а после войны, жив будет, на подсобную работу в крестьянство пойдет. Ничего, все будет нормально, мы все тогда отдышимся...

Иван Владыко прислонился щекою к шее коня и почувствовал, что в нем есть еще неостывшая глубокая теплота.

Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав; Иван Великий обернулся к ним и увидел, что они дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь.

«Воины! — подумал Владыко, спрятав трофейные ножи в голенище. — Двумя ножами меня сразить не могли. Хотя им что ж: смысла нету! А без смысла на войне нельзя».

ТРИ СОЛДАТА

В августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Минаков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненая, он держал ее на привязи. Он без просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы подвезти до госпиталя.

Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевой мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера.

Красноармеец был молод, лет двадцати пяти — семи на вид, с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем, и с ясными глазами. Должно быть, крепкая душа была у этого бойца, если и раненье, и долгая тягость войны еще не истомили его.

— Вы который раз ранены — первый? — спросил я у красноармейца.

— Четвертый, — улыбнулся Минаков. — Два осколка от мины во мне живут: один в шее, другой в бедре... А сам я за войну пятерых уложил да подранил несколько... Это — ничего!

Он считал свои раны вполне оправданными и свое положение, по сравнению с неприятелем, выгодным.

— В эту руку уж второй раз попадают! — сказал Минаков.

— Срастется? — спросил я.

— Ну конечно, срастется? — убедительно произнес

Минаков. — Место уже битое, оно привыкло заживать... Через месяц опять дома буду — в своей части.

— Когда же вы из боя вышли?

— Да нынче... Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли...

— Какие потери были в вашем подразделении?

— Потерь в людях не было, товарищ капитан... Один я подранен, да еще одного бойца оглушило. А немцев тоже там мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен живьем, — в языках нужда была.

— Что ж, у вас большой перевес был?

Минаков смутился и застеснялся чего-то.

— Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли... Воевали теперь с расчетом и умыслом, давно ведь уж воюем и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли...

Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаваться, что его батальон истощился людьми — и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведенными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата, потому что та часть, в которой служил Минаков, с пятого июля, с первого часа немецкого наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою грудь, на свое оружие ураганное давление германской армии, измотала на себе силу и обескровила немцев и затем перешла в сокрушающее наступление, уничтожила вражескую оборону противника.

И все же Минаков, видимо, стеснялся того, что его батальон был сводным, а не состоял, как прежде, сплошь из своих, привыкших друг к другу, кадровых бойцов.

— Упираются немцы? — спросил я у Минакова.

— Сила у них есть...

— Что же они не стоят?

— Веры у них не стало. А без веры солдат, как былинка, — он умереть еще может, а одолеть ему неприятеля уже трудно бывает... А что смерть без дела?

— Была же у них вера...

— Была, конечно. А теперь она об нас истерлась... Теперь томиться немцы стали.

Госпиталь помещался в разрушенном поселке. Минаков сказал, чтоб остановили машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтоб не

задерживать нас, быстро отворил дверцу здоровой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель и пошел выздоравливать.

Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в то время был отведен на отдых во второй эшелон.

В этом батальоне среди прочих служили два человека: один был старослужащий, сорокалетний старший сержант Прохоров, в начале войны бывший рядовым, а другой был солдат Алеев, родом татарин, пришедший в армию полгода назад. В армии есть скучные, повторяющиеся, но необходимые дела — уход за оружием, содержание в порядке своей одежды и личных вещей, исполнение нарядов по охране и обслуживанию общевойскового добра и прочее. И сержант, и рядовой боец выполняли эту работу, однако, с удовольствием, с тихим рачительным усердием...

Я подумал, что они — люди обыденной мирной жизни и сражаются, должно быть, худо.

Это наблюдение и привлекло меня к ним. Рябой и сосредоточенный Прохоров, как я услышал, к тому же был и скупой человек, и скупость его имела уже как бы неразумное значение. Он мог, склонившись на дороге, поднять комок земли и кинуть его на поле, — чтоб и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растаптываться без пользы в прах ногами. Поверх головок своих сапог он обувал лапти, чтобы сапоги не снашивались столь скоро и народ как можно дольше не беднел от войны, обувая своих солдат в дорогую кожу. Позже я увидел, что ошибся, и понял, что скупость ко всем предметам, составляющим достояние родины, есть постоянное скромное выражение страстной любви к ней.

Аккуратно исполнительный, Алеев любил чистить и смазывать винтовки и автоматы, и он мог даже производить им небольшой полевой ремонт. До войны Алеев работал в машинно-тракторной мастерской по плужному делу и прицепному инвентарю.

Я спросил у Алеева, что его интересует в жизни.

— Хлебопашество, — сказал Алеев. — Я хлеб в поле любил.

— А война? На войне хлеб не сеют...

— Война против фашистов — такое же святое дело, как хлебопашество, — ответил Алеев. — Зачем будет

хлеб, когда народ от немца помрет? Кто будет кушать?

Я не понял Алеева.

— На войне и погибают люди. Может, и ты и я погибнем...

— Может,— согласился Алеев.— Зато в тылу народ целым останется. Ты считай сам, я убью десять немцев, а они убили бы тысячу нашего народа, если бы жить стали и по нашей земле пошли. Ты считай, сколько я людей уберегу! А сам помру — не жалко, от меня польза останется. Опять хлебопашество будет, народ рожаться будет, — лучше меня будут люди.

И с терпеливым усердием Алеев склонился над своей работой: он сейчас ремонтировал расстроенный, изработавшийся автомат, причем работал он с тем же удовольствием, с каким в былое время настраивал плужную систему для трактора.

Через два дня батальон, отдышавшись в ближнем тылу, был перемещен в первый эшелон и вступил в дело.

Прохоров, Алеев и младший лейтенант Сухих назначены были идти в ближнюю разведку. Им дали задачу — разведать дорогу в дебрях минных полей на подходах к укрепленному рубежу противника. Нужно было пройти небольшое расстояние, однако пройти его следовало ночью, на ощупь, пересчитав и высмотрев каждую былинку.

Но в ту же ночь немцы, предчувствуя наш удар, открыли огонь по нашей стороне, а затем пустили свои танки в атаку. Машины врага были встречены нашим пушечным и бронебойным огнем. Сухих, Прохоров и Алеев остались одни, как сироты, в промежуточном поле, накрываемом нашим огнем. Кроме отсветов от разрывов, поле осветилось ракетами, досланными сюда нашими войсками. Сухих, Прохоров и Алеев вжались в землю, но это их положение было малополезным для боя и не обещало им самим надежного спасения. Алеев, полежав немного, сказал на ухо младшему лейтенанту Сухих:

— Так лежать — я буду изменником, давай воевать...

— Сейчас, — ответил Сухих; он следил, как, маневрируя среди собственного минного поля, проходят немецкие танки, и старался запомнить безопасные проходы.

Под светом ракеты Алеев ясно увидел заблестевшие взрыватели трех противотанковых мин.

— Прохоров, — сказал Алеев, — товарищ сержант... Бояться будем, умрем нехорошо...

Два танка с тяжелой стремительностью прошли мимо троп наших солдат.

— Нам чужого добра не жалко! — крикнул Прохоров.

Он подполз к одной мине и стал отрывать ее. Алеев догадался, в чем был смысл работы Прохорова, и подполз к следующей мине. Отрывши ее, он сказал Прохорову, чтобы сержант положил обе мины — свою и его — ему на спину, и он повезет, ползя на животе, куда нужно. Прохоров погрузил мины на Алеева и пополз с ним рядом, следя, чтобы груз лежал в покое...

С немецкого рубежа вышла новая группа танков; теперь уже оттуда шло много машин, и за ними должна быть пехота.

— Уходи! — сказал Алеев Прохорову. — А я мало побуду здесь.

Они выбрались на чистый проход, по которому до того прошли танки.

Алеев лежал ничком с минами на спине, задумав сгрузить с себя мины, когда первый же танк подойдет поближе и ясно станет его направление.

— Нет! — крикнул Прохоров. — Риск — не расчет! Ты нам тоже не дешевый — живи!.. Сознавай за мной!

К ним подполз Сухих.

— Сгружайте мины здесь — приказал офицер. — Потом — давай сразу в сторону!

Сгрузив мины на грунт, все трое отползли подальше.

Они увидели, как засветился во мгновении взрыве немецкий танк и даже приподнялся немного над землей, точно хотел взлететь, затем добавочно сверкнул из отверстий корпуса внутренний взрыв, и весь танк изувечился.

Сухих вскочил и крикнул:

— Давай за мной вперед на врага!

Все трое залезли в развалину танка, где все-таки было безопасней, чем в чистом поле. Прохоров сейчас же озаботился, чтобы не было у них за броней ничего постороннего и ненужного: он высадил наружу через отверстие люка трупы танкистов, а затем хотел спустить от греха горючее из бака, но бак был уже сплюснен и пуст.

Освоившись и разобравшись немного в стальной теснине корпуса, сжатого увечьем, трое людей опять стали слышать битву.

Танки неприятеля прошли мимо них по полю, озаренному светом ракет, и за ними мчалась пехота, припадая к земле от света и снова стремясь вперед.

— Ссечь их! — крикнул младший лейтенант Сухих и ударил из автомата по пехотинцам, бегущим вслед за машинами.

Прохоров и Алеев тоже пустили в дело свои автоматы, и ближние немцы стали припадать к охлажденной земле, уже орошенной ночной росой.

— Живее бей! — ускорял огонь Сухих. — Спускай им душу в дырку через сердце.

Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. Немцы, умирая возле своего мертвого танка, не успевали понять источника своей гибели.

Сухих стрелял непрерывно: он мало верил, что удастся дожить до рассвета, и не хотел, чтобы бесполезно остался при нем боезапас.

Постепенно бой ушел за танками в сторону, и тогда трое русских солдат опомнились и передохнули.

— Ничего, — сказал Сухих.

— Ничего, — согласились с ним Прохоров и Алеев.

На них тихо, без стрельбы, надвинулся из тьмы немецкий танк и остановился у буксирного крюка подбитой машины.

— За своим добром приехали, — сказал Прохоров. — Это правильно.

Крышка люка прибывшего танка открылась, и из машины вылезли два немца.

Алеев хотел посечь немцев огнем, но Сухих не велел ему.

— У них пушка в машине и пушкарь внутри сидит, — сказал офицер. — Нам толку не будет.

Сцепив танки тросами, немцы подобрали трупы своих танкистов и положили их на броню здорового танка-тягача. Потом они вернулись и полезли через люк внутрь увечной машины, но здесь они остались молчать заперто в руках советских солдат.

Сцепленный танк-тягач теперь стоял близко, и пушка его была не опасна на такой дистанции. Живые нем-

цы в здоровом танке обождали немного своих товарищей, а затем потянули больной танк в свою сторону. Пройдя небольшое расстояние, танк-тягач остановился, потому что трупы свалились с его брони на землю. Теперь ракет уже давно не было в небе и было темно, но советские солдаты принаровились глазами ко мраку и чутко следили, что будет далее впереди них. Двое немцев показались сверху из тягача и прыгнули вниз. Они вновь подняли своих мертвых с земли и положили их обратно на машину, — как было. Затем один из них, недовольно бормоча, пошел к больному танку.

— Кончай! — сказал Сухих; он сам дал краткую очередь, и враги пали мертвыми.

Прохоров и Алеев бросились к здоровому танку и забрались на него.

Но гром боя опять стал возвращаться сюда, на прежнее место. Наши части контратаковали неприятеля и повернули его обратно, откуда он вышел. Немецкая колонна танков шла теперь назад, расстроенная, словно щербатая: из нее выбили много машин, и они омертвели на поле сражения. Прохоров и Алеев, равно и Сухих, остерегаясь огня, остались сидеть за броней немецких танков, полагая, что красноармейцы разглядят, в чем тут дело, и не станут тратить прицельного огня по умолкшим машинам. Сухих сидел один с двумя мертвыми немцами, а Прохоров и Алеев были вдвоем в здоровой машине.

На рассвете в здоровый немецкий танк влез для проверки механизма советский танкист и, дав мотору обороты, повел всю сцепленную систему в русскую сторону.

На русской стороне мы вновь встретились с Прохоровым, Алеевым и офицером Сухих. Алеев явился в штаб части с ребенком на руках, цыганским мальчиком лет восьмип на вид. А Прохоров тоже был не пустой: он принес мешочек семян многолетнего клевера.

Цыганского мальчика они обнаружили внутри немецкого танка. Напуганный ребенок не мог объяснить, зачем его взяли в машину, а немцы, что были с ним, все теперь умерли, и спросить было не у кого. Может быть, немцы возили ребенка с собой как амулет, как заклятие против своей смерти. А может быть, тут был расчет: дескать, когда погибнем мы, погибнешь и ты, маленький грустный звереныш, и нам легче оттого, что и тебя после

нас не будет на свете. Для человека смерть красна на миру, потому что мир по нем тоскует; для немца смерть красна, когда и мир или хоть малая живая доля его погибнет вместе с ним.

Прохоров нашел мешочек с семенами внутри танка, в вещевом ящике, и решил взять его на родину в хозяйство, потому что поля войны зарастают жестким бурьяном, с листьями, как железная стружка, несъедобными для скотины, а в мешке все же были семена сладкого клевера.

Сухих отобрал цыганского мальчика от Алеева к себе на руки, осмотрел и освидетельствовал подробно тело ребенка — все ли оно было цело и невредимо после сражения — и сказал красноармейцу:

— Это хороший мальчуган: он весь теплый и живой!

КОРОВА

Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае, этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.

Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.

— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.

У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.

Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще

на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди.

Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинки. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать непрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже непрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напиться.

Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отражавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные.

Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.

Одноколейная линия железной дороги пролежала невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.

Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.

— Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли?

Отец ушел с телятником на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару телят, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая, и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за

пять километров от дома и учился там в четвертом классе.

Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не признанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.

Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист или орденоносец или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.

Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так

долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».

Паровоз достиг переезда и, тяжело поворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь: у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.

Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.

Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.

Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно поворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.

— Дай я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.

— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!

Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.

— Я буду руками, так легче.

Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.

— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.

Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.

Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»

Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбегал с пути и сам закричал машинисту:

— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..

— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.

— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая ря-

дом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.

Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.

— И пар у вас идет, где не нужно: из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.

— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду.

— Давай! — обрадованно согласился Вася.

Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.

Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди.. Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет как на курорте. Ну я ее на уклоне растрясу».

Машинист дал два длинных гудка, — чтоб отдали тормоза в составе, если где зажато.

Вася оглянулся и сошел с пути.

— Ты что же? — крикнул ему машинист.

— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...

— Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.

Вася поднял с земли угощение.

— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?

— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.

— Зажато! — крикнул он.

— Где? — спросил машинист.

— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!

Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.

Вдалске светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.

Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.

— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер?

— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!

— Он еще маленький, — произнес Вася.

— Маленький дороже, у него мясо нежней, — объяснил отец.

Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головой и опустил вниз, обратив его в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.

Стало тихо. Уныло и кротко промышчала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына.

— Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду.

— А инструмент? — напомнил Вася.

— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит; растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы...

И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову, то направо, то налево, осматривая путь.

Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.

Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось

в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.

И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.

Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо.

Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме.

К вечеру отец распряг корову и пустил ее поpastись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.

Вечер наступал такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по нем и не звала его, она терпела и не понимала.

Поделав уроки, Вася взял лопоту хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что

он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте.

Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.

Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсоюз, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой.

Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой...

С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.

Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила по воле и чтоб ей стало лучше. На корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.

И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.

Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.

— Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.

— Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях.

— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит.

Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.

— Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь?

— Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.

— Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонков подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.

— Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда...

— Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.

— Здравствуй, — ответил ему Вася.

— Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.

— А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты едешь плохо.

— Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился!

— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.

— Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.

— Насилу догадались, — сердито сказал Вася.

Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.

На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.

Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.

В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни.

Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».

Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете.

МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ

Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах.

На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу успокаивающие слова, а затем и они впали в безмолвие.

Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротой маршинистых загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец — в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке, на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено теперь к одному майору, светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор.

Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже

был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстанутся на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния во время войны — людям оттуда трудно вернуться друг к другу, — поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

— Ну, Сережа, прощай пока, — сказал тот майор, которого любил ребенок. — Ты особо-то воевать не старайся, подрастешь — тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну чего ты, чего ты — держись, солдат!

Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи.

Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе как умел.

Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным.

Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.

— Их разведчик идет! — сказал он тихо, будто самому себе. — Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо истребителя послать.

— Пошлют, — сказал майор. — Там у нас смотрят.

Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка.

— Как он мне надоел за войну, этот мешок, — сказал майор, — и как я ему благодарен!

Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу.

Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год, он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата, — ну, с поспешностью, конечно, — и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен пойти вперед и вернуть утраченную землю, и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели — ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления, и вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целым перешел в его владение.

Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно — память же ничем не порченная, — а вернувшись домой, указал отцу по карте, как оно есть и где находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережа, неприятель его за суслика в траве принимал — пусть, дескать, шевелится. А Сережа, наверное, и травы не шевелил, без вдоха шел.

Ординарца мальчишка тоже обманул или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца — неизвестно кто из них, — а позицию нашел Сергей.

Так он и жил в полку, при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть

его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер.

А потом случилось горе, и в тыл мальчика некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно поразило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась — она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно в полость живота, — и через месяц после мужа тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала... Остался Сергей сиротой.

Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчика и стал ему вместо отца и матери, вместо родных, всем человеком. Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем.

— А я-то не из их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне побережь мальчишку, пока он обратно не прибудет... Да и когда еще Володя вернется и куда его направят! Ну, это там видно будет...

Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война.

Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря.

Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было двое на трех кроватях — майор Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было.

Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако

маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны.

Наутро Сережка Лабков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку, — может быть, вслед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.

1943

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть, должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали, они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.

Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем

ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.

Теперь эта женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца, — по крайней мере в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.

Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, навевываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была милостива, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью, она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.

Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армян; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остался лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие

или утешение, либо, как он сам выражался, простую подручную радость — и тем выходил из своего уныния.

Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она потоварищески позволила ему поцеловать ее в щеку.

— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.

— Только потому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.

Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он, хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и незащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, — теми чистыми веществами, которые произошли от огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.

Иванов повторил свою просьбу.

— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.

— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.

— Вон как... Так вы позволите...

— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.

Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедши от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.

Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи

и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.

Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.

Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.

Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.

Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.

Маша улыбнулась в ответ и сказала:

— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.

— Дорогая моя Маша... Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?

— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было.

Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никогда не могла забыть ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.

Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.

Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стальных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.

Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один беспорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец.

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич.

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?

— Два, Петя, и три медали.

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?

— Мне больше не нужно.

— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.

— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.

— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.

Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.

Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.

Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею, не различаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.

Маленькая Настя вышла из дому и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами, обождав немного, он сказал:

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..

В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми

веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.

Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же, как и четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было запаха родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвою, незнакомою заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...

Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.

— Настышка, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...

Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.

— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копать, стахановка!

— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.

— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!

Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугунок со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:

— Чего горишь по-лохматому — ишь во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь потолстому, а надо чистить тонко; зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!

— Чего ты, Петрушка, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве спорвится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!

— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало? Если б свиноматка у нас была; можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.

— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?

Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.

— Ничего, Алеша...— Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко...

— Где работаешь? — не понял Иванов.

— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...

— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...

— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...

Иванов встал и прошелся по горнице.

— Так, значит, в общем, ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?

— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...

Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.

Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.

Отец склонился к ней.

— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?

Он поднял ее к себе на руки и погладил ее головку.

— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...

Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.

— Ты что, Настенька моя?

— А мама плачет, и я буду.

Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.

— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст? По старому-то все получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.

Петрушка вынул из печи большой чугунок со щами и разгреб жар по поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.

Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с мылым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему, как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогаком у печки.

Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр,— обратился к нему отец,— крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно,— нахмурившись, произнес Петрушка,— а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть,— просто-сердечно сказала Любовь Васильевна,— а ему жалко.

— А вам ничего не жалко,— равнодушно сказал Петрушка.— А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.

— А ты что плохо кушаешь?— спросил отец у маленькой Насти.— Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...

— Я выросла большая,— сказала Настя.

Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.

— Ты зачем так делаешь?— спросила ее мать.— Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?

— Не хочу, я сытая стала...

— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?

— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет.

Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.

Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.

— А кто этот дядя Семен?— спросил Иванов жену.

Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:

— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, но к нашим детям привык и ходит играть с ними.

— Как играть?— удивился Иванов.— Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?

Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папироску.

— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет?— спросил затем отец у Петрушки.

Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.

— Они книжки-игрушки,— сказала Настя отцу,— дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...

Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...

Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.

Закрыв вьюшку, он сказал отцу:

— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...

Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.

— Чтой-то облака,— проговорил Петрушка,— свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..

Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене,— но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:

— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай,— завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя! А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.

Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал пол возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугуны со щами.

— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть,— указал всем Петрушка.— А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.

— Я схожу,— покорно согласился отец.

— Сходи, не забудь, а то утром проспшишь и забудешь.

— Нет, я не забуду,— пообещал отец.

Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.

Потом Иванов спросил у жены:

— Как у вас, Люба, с одеждой,— наверное, пообносились?

— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять,— улыбнулась Любовь Васильевна.— Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твоё перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать...

— Правильно сделала,— сказал Иванов,— детям ничего не жалею.

— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.

— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может,— высказался Петрушка.— Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценился, там есть подходящие...

— Без тебя, без твоей получки обойдемся,— сказал отец.

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материни варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе,— уже холодно стало, осень во дворе.

Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:

— Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одеда?

— А я через очки гляжу, а не в них.

— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь прожить и на пенсии. Скинь очки сейчас же,— я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, забыла уж, когда занималась!

— А Настя что — учится?— спросил отец.

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.

Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежащая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще уgomонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глаза, а Петрушка захрипел на печке.

Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит: пожар, залезут вору-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро — он не знал, а отец с матерью не спали.

— Алеша, ты не шуми, дети проснутся,— тихо говорила мать.— Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...

— Не нужно нам его любви,— сказал отец.— Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала,— зачем

тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...

Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.

— Что ты, Алеша, что ты говоришь!— громко воскликнула мать.— Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...

— Ну и что же!..— говорил отец.— У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает как дед, а читать небось забыл.

Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно,— подумал он,— пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах».

— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать.— А от грамоты он тоже не отстанет.

— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать,— серчал отец.

— Он добрый человек.

— Ты его любишь, что ль?

— Алеша, я мать твоих детей...

— Ну дальше! Отвечай прямо!

— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.

Отец молчал и курил трубку в темноте.

— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.

— А кто он по должности, где работает?

— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.

— Понятно. Жулик.

— Он не жулик. Я знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.

— Неважно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.

Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша,— заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее бы-

ли большие остановившиеся слезы.— Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему?— а он отвечал им, потому что ты добрый...

Отец засмеялся и выбил жар из трубки.

— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей. И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!

— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.

— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться?.. Ты скажи, что ему надо было?

— Может быть, в нем сердце хороше, Алеша,— поэтому он такой. А почему же?

— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.

— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...

— Все это чепуха какая-то!— сказал отец.— Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.

— Живи с нами, Алеша...

— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?

— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.

— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы женщины такие.

— А вы какие?— с обидой спросила мать.— Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет... Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет

совсем один. «Можно,— спрашивает меня,— я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам было лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!

— Ну дальше, дальше что?— поторопил отец.

— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.

— Ну что ж, хорошо, если так,— сказал отец.— Пора спать.

Но мать попросила отца:

— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.

«Никак не угомонятся,— думал Петрушка на печи,— помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».

— А этот Семен любил тебя?— спросил отец.

— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.

Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка. Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:

— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.

— Ты бы его хоть, поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась,— по-доброму произнес отец.

— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.

— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?

— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.

— А он на меня тоже похож?

— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.

— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.

— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.

— Это все равно — куда.

— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?

— Как что? Я всю войну провоявал, я смерть видел ближе, чем тебя...

— Ты воявал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.

Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.

— И я не стерпела жизни и тоски по тебе,— говорила мать.— А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...

— Это кто, опять Семен-Евсей этот?— спросил отец.

— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...

— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?

Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая»,— прошептал он сам себе.

Мать сказала отцу в ответ:

— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобой я могу быть спокойной, счастливой и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться,

нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!

Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.

— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой?— спросил отец.

— Один только раз,— сказала мать.— Больше никогда не было. А сколько нужно?

— Сколько хочешь, дело твое,— произнес отец.— Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...

— Это правда, Алеша...

— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?

— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..

— Обожди! — сказал отец.— Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась?

— Я не пропала,— прошептала мать,— я живу.

— Значит, и тут ты мне врешь. Где же твоя правда?

— Не знаю,— шептала мать.— Я мало чего знаю.

— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты,— проговорил отец.— Стерва ты, и больше ничего.

Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.

— Ну вот я и дома,— сказал он.— Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...

Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.

— Четыре часа,— сказал он сам себе.— Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.

Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.

— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня.

Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — стекло нету нигде».

— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комод.

— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!

Настя вскрикнула от испуга и проснулась.

— Мама! — позвала она. — Можно, я к тебе?

Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.

Петрушка сел на печи, опустил ноги вниз и сказал всем:

— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?

— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.

— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.

— А тебе какое дело — чего мне надо! — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой!

— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настке отдает.

— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.

— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.

— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!

— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.

— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с

печки.— Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...

Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.

— Большую волю ты дома взял,— сказал отец.— Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...

Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:

— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...

— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет,— сказала мать.

— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом устал, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один безрукий был, ты дура-баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась: Харитон еще хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смиренно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинка на добавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...

Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой!— размышлял отец о сыне.— Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»

Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.

Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.

Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.

— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место!— сказал Петрушка сестре.— Где мать-то, на работу ушла?

— На работу,— тихо ответила Настя и закрыла книгу.

— А отец куда делся?— Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате.— Он взял свой мешок?

— Он взял свой мешок,— сказала Настя.

— А что он тебе говорил!

— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.

— Так-так,— сказал Петрушка и задумался.

— Вставай с пола,— велел он сестре,— дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...

Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немножко обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!

Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой веще-

вой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня,— думал Иванов.— Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».

Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд.

Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке; одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.

Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, упавшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога: лишь из города, из улицы, в

которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и бóльший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собой, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, не поспевал за бóльшим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.

Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бóльший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у бóльшего нога была обута в валенок, а другая в калошу,— от этого он и падал так часто.

Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.

Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.

Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не успевала бежать ногами.

Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

1946

ЦВЕТОК НА ЗЕМЛЕ

Скучно Афоне жить на свете. Отец его на войне, мать с утра до вечера работает в колхозе на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке. Он и днем спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дремлет.

— Дедушка, ты не спи, ты уж выспался,— сказал нынче утром Афоня дедушке.

— Не буду, Афонюшка, я не буду,— ответил дед.— Я лежать буду и на тебя глядеть.

— А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь?— спросил тогда Афоня.

— Нынче я не буду глаза смежать,— обещал дедушка Тит.— Нынче я на свет буду смотреть.

— А отчего ты спишь, а я нет?

— Мне годов много, Афонюшка... Мне без трех девяносто будет, глаза уж сами жмурятся.

— А тебе ведь темно спать,— говорил Афоня.— На дворе солнце горит, там трава растет, а ты спишь — ничего не видишь.

— Да я уж все видел, Афонюшка.

— А отчего у тебя глаза белые и слезы в них плачут?

— Они выцвели, Афонюшка, они от света выцвели и слабые стали, мне глядеть ведь долго пришлось.

Афоня осмотрел деда, какой он есть. В бороде у деда были хлебные крошки, и там жил еще один комарик. Афоня встал на лавку, выбрал все крошки из бороды у деда, а комарика прогнал оттуда — пусть он живет отдельно. Руки у дедушки лежали на столе, они были боль-

шие, кожа на них стала как кора на дереве, и под кожей видны были толстые черные жилы, эти руки много земли испахали.

Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы.

— Не спи, дедушка!— попросил Афоня.

Но дедушка уже спал. Мать подсадила его, сонного, на печку, укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, которые окружили на полу хлебную крошку, упавшую из бороды деда, и ели ее; потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что делать.

— Мамы нету, папы нету, дедушка спит,— говорил Афоня сам себе.

Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно; тик-так, тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже утомились и хотели уснуть

— Проснись, дедушка,— просил Афоня.— Ты спишь?

— А? Нету, я не сплю,— отвечал дедушка Тит с печки.

— Ты думаешь?— спрашивал Афоня.

— А? Я тут, Афоня, я тут.

— Ты думаешь там?

— А? Нету, я все обдумал, Афонюшка, я смолоду думал.

— Дедушка Тит, а ты все знаешь?

— Все, Афоня, я все знаю.

— А что это, дедушка?

— А чего тебе, Афонюшка?

— А что это все?

— А я уже позабыл, Афоня.

— Проснись, дедушка, скажи мне про все!

— А?— произнес дедушка Тит.

— Дедушка Тит! Дедушка Тит! — звал Афоня.— Ты вспомни!

Но дед уже умолк, он опять уснул в покое на русской печи.

Афоня тогда сам залез на печь к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только

шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня уморился его будить и сам уснул возле деда, прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей теплой землею.

Очнувшись от сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит.

— Вставай, дедушка!— сказал Афоня. А дед опять закрыл глаза и уснул.

Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда он спит; и он захотел никогда не спать, чтобы подкараулить деда, когда он совсем проснется.

И Афоня стал ожидать. Часы-ходики тикали, и колесики их поскрипывали и напевали, баюкая деда.

Афоня тогда слез с печи и остановил маятник у часов. В избе стало тихо. Слышно стало, как отбивает косу косарь за рекой и тонко звенит мошка под потолком.

Дедушка Тит очнулся и спросил.

— Ты чего, Афоня? Что-то шумно так стало? Это ты шумел?

— А ты не спи!— сказал Афоня.— Ты скажи мне про все! А то ты спишь и спишь, а потом умрешь, мама говорит — тебе недолго осталось; кто мне тогда скажет про все?

— Обожди, дай мне квасу испить,— произнес дед и слез с печи.

— Ты опомнился?— спросил Афоня.

— Опомнился,— ответил дед.— Пойдем сейчас белый свет пытаться.

Старый Тит испил квасу, взял Афонию за руку, и они пошли из избы наружу.

Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже.

Дед повел Афонию полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка, показал на него Афоне, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок.

— Это я сам знаю! — протяжно сказал Афоня.— А мне нужно, что самое главное бывает, ты скажи мне про все! А этот цвет растет, он не все!

Дедушка Тит задумался и осерчал на внука.

— Тут самое главное тебе и есть!.. Ты видишь: песок мертвый лежит, он каменная крошка, и более нет ниче-

го, а камень не живет и не дышит, он мертвый прах. Понял теперь?

— Нет, дедушка Тит,— сказал Афоня,— тут понятного нету.

— Ну, не понял, так чего же тебе надо, раз ты непонятливый?.. А цветок, ты видишь, жалконький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мертвого праха. Стало быть, он мертвую сыпучую землю обращает в живое тело и пахнет от него самого чистым духом. Вот тебе и есть самое главное дело на белом свете, вот тебе и есть, откуда все берется. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает жизнь...

— А трава и рожь тоже главное делают?— спросил Афоня.

— Одинаково,— сказал дедушка Тит.

— А мы с тобой?

— И мы с тобой. Мы пахари, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем. А этот вот желтый цвет на лекарство идет, его и в аптеке берут. Ты бы нарвал их да снес. Отец-то твой ведь на войне; вдруг поранят его или он от болезни ослабнет, вот его и полечат лекарством.

Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь; он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет.

— Теперь я сам знаю про все!— сказал Афоня.— Иди домой, дедушка, ты опять, должно, спать захотел: у тебя глаза белые... Ты спи, а когда умрешь, ты не бойся, я узнаю у цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся!

Дет Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся своему доброму внуку и пошел спать в избу на печку.

А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал желтых цветов, сколько мог их удержать в охапке, и отнес в аптеку на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принес его деду и подарил ему: пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком.

— Спасибо тебе, Афонюшка,— сказал дед.— А цветы тебе ничего не сказывали, из чего они в мертвом песке живут?

— Не сказывали,— ответил Афоня.— Ты вон сколько живешь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про все. Ты не знаешь.

— Правда твоя,— согласился дед.

— Они молча живут, надо у них допытаться,— сказал Афоня.— Чего все цветы молчат, а сами знают?

Дед кротко улыбнулся и погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.

ЕЩЕ МАМА

— А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду!— сказал Артем своей матери, Евдокии Алексеевне.— Правда, мама?

— Правда, правда,— ответила мать.— Чего тебе ходить!

— Чего мне ходить?— нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше!

— Не надо,— сказала мать,— не надо!

А когда прошло лето и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из её руки; рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.

— Ну что ж! — сказал Артем.— Зато я домой скоро приду! Правда, скоро?

— Скоро, скоро,— ответила мать.— Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь.

— Я чуть-чуть,— согласился Артем.— А ты по мне дома не скучай!

— Не буду, сынок, я не буду скучать.

— Нет, ты немножко скучай,— сказал Артем.— Так лучше тебе будет,— а то что! А игрушки из угла убирать не надо: я приду и сразу буду играть, я бегом домой прибегу.

— А я тебя ждать буду,— сказала мать,— я тебе оладьев нынче испеку.

— Ты будешь ждать меня?— обрадовался Артем.— Тебе ждать — не дожждаться! Эх, горе тебе! А ты не

плачь по мне, ты не бойся, и не умри смотри, а меня дождайся!

— Да уж ладно!— засмеялась мать Артема.— Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!

— Ты дыши и терпи, тогда не помрешь,— сказал Артем.— Гляди, как я дышу, так и ты.

Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая, большая рубленая школа, ее целое лето строили, а за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко, до нее протянулся долгий порядок домов, дворов десять или одиннадцать.

— А теперь ступай один,— сказала мать.— Привыкай один ходить. Школу-то видишь?

— А то будто! Вон она!

— Ну, иди, иди, Артемушко, иди один. Учительницу там слушайся, она тебе вместо меня будет.

Артем задумался.

— Нет, она за тебя не будет,— тихо произнес Артем,— она чужая.

— Привыкнешь, Аполлинару Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди!

Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один.

Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой, но она только вздохнула и пошла домой одна.

Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать, однако ее уже не было видно.

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крикнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы,— решил Артем,— они живут вместе с орлами!»

На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями; животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.

«Ктой-то это? — подумал Артем.— Волк, что ли?» Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать,— не видать ли ее там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно, она уже дома, должно быть,— это хорошо, волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами.

Артем узнал собаку Жучку.

— Жучка, это ты?

— Р-р-р! — ответила собака-волк.

— Тронь только! — сказал Артем.— Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду! Вон она виднеется!

— Ммм,— смиренно произнесла Жучка и шевельнула хвостом.

— Эх, далече еще до школы! — вздохнул Артем и пошел дальше.

Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее и тут же вышел вон обратно.

— Это ктой-то еще?— напугался было Артем.— Ты чего дерешься, а то я тебе тоже... Мне в школу надо. Я ученик — ты видишь!

Он поглядел вокруг, а никого не было, один ветер шумел павшими листьями.

— Спрятался?— сказал Артем.— Покажись только!

На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.

— Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет.

Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня, да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: ффурфурчи!

— Не трожь меня: мне некогда!— ответил Артем и выбежал на середину улицы.

На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал, они пришли из другой деревни и, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.

— А ты знаешь жирный шрифт? Ого!— сказал мальчик из другой деревни.

А еще двое говорили:

— Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал!

— А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок!

— Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили.

«А я ничего не знаю,— подумал Артем,— я только маму люблю! Убегу я домой!»

Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлиария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок:

— Здравствуйте, дети. Идите сюда, идите ко мне.

Все ребята пошли в школу, один Артем остался во дворе. Аполлиария Николаевна подошла к нему:

— А ты чего? Оробел, что ли?

— Я к маме хочу,— сказал Артем и закрыл лицо рукавом.— Отведи меня скорее ко двору.

— Нет уж, нет! — ответила учительница.— В школе я тебе мама!

Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла.

Артем исподволь поглядел на учительницу: ишь ты, какая она была,— она была лицом белая, добрая, глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухою травой.

В классе Аполлиария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлиария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.

— Эк ты, селезень толстый какой на коленях сидит! — сказал один мальчик.

— Я не толстый! — ответил Артем.— Это меня орел укусил, я раненый.

Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.

— Где? — спросила учительница.— Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи!

— А вот тут! — Артем показал ногу, где гусак его защемил.

Учительница оглядела ногу.

— До конца урока доживешь?

— Доживу,— обещал Артем.

Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако; оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? не померла ли от чего-нибудь,— вон бабушка Дарья весною враз померла, не чаяли, не гадали. А может быть, изба их без него загорелась, ведь Артем давно из дому ушел, мало ли что бывает.

Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:

— А ты чего, Федотов Артем, ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?

— Я пожара боюсь, наш дом сгорит.

— Не сгорит. В колхозе народ смотрит, он потушит огонь.

— Без меня потушат?— спросил Артем.

— Без тебя управятся.

После урока Артем первым побежал домой.

— Подожди, подожди,— сказала Аполлиария Николаевна.— Вернись назад, ты ведь раненый.

А ребята сказали:

— Эх, какой,— инвалид, а бегаешь!

Артем остановился в дверях, учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлиарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу и всюду было убрано чисто, хорошо.

Аполлиария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко — щипок гусака белой марлей.

— А мама твоя будет горевать! — сказала Аполлиария Николаевна.— Вот горевать будет!

— Не будет!— ответил Артем.— Она олады печет!

— Нет будет.

— Не будет!. Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться,— значит, он маму обманул, значит, он меня не любит, скажет она, и сама заплачет.

— И правда!— испугался Артем.

— Правда. Давай сейчас учиться.

— Чуть-чуть только,— сказал Артем.

— Ладно уж, чуть-чуть,— согласилась учительница.— Ну, иди сюда, раненый.

Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно»,— подумал Артем.

В классе Аполлиария Николаевна написала на доске одно слово и сказала:

— Так пишется слово мама,— и велела писать эти буквы в тетрадь.

— А это про мою маму?— спросил Артем.

— Про твою.

Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась; он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие маму, а учительница не сводила с него своих радующихся глаз.

— Ты молодец! — сказала Аполлиария Николаевна.

Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.

— Еще учи! — попросил Артем.— Какая это буква: вот такая — ручки в бочки?

— Это Ф,— сказала Аполлиария Николаевна.

— А жирный шрифт — что?

— А это такие вот толстые буквы.

— Кормлёные?— спросил Артем.— Больше не будешь учить — нечему?

— Как так — «нечему»? Ишь ты какой! — сказала учительница.— Пиши еще!

Она написала на доске: родина.

Артем стал было переписывать слова в тетрадь, да вдруг замер и прислушался.

На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом: у-у! а потом еще раздалось откуда-то, как из-под земли: н-н-н!

И Артем увидел в окно черную голову быка. Бык глянул на Артема одним кровавым глазом и пошел к школе.

— Мама!— закричал Артем.

Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди.

— Не бойся!— сказала она.— Не бойся, маленький мой. Я тебя не дам ему, он тебя не тронет.

— У-у-у! — прогудел бык.

Артем обхватил руками шею Аполлинаруии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову.

— Я прогоню быка.

Артем не поверил.

— Да. А ты не мама!

— Мама!.. Сейчас я тебе мама!

— Ты еще мама! Там мама, а ты еще, ты тут.

— Я еще. Я тебе еще мама!

В классную комнату вошел старик с кнутом, запленный землей; он поклонился и сказал:

— Здравствуйте, хозяева! А что, нету ли кваску испить либо воды? Дорога сухая была...

— А вы кто, вы чьи? — спросила Аполлинурия Николаевна.

— Мы дальние,— ответил старик.— Мы скрозь идем вперед, мы пленных быков по плану гоним. Слышите, как они нутром гудят? Звери лютые!

— Они вот детей могут изувечить, ваши быки! — сказала Аполлинурия Николаевна.

— Еще чего!— обиделся старик.— А я-то где? Детей я уберегу!

Старик пастух напился из бака кипяченой воды,— он полбака выпил,— вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артему. «Ешь,— сказал,— точи зубы»,— и ушел.

— А еще у меня есть еще мамы?— спросил Артем.— Далеко-далеко, где-нибудь?

— Есть,— ответила учительница.— Их много у тебя.

— А зачем много?

— А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша родина — еще мама тебе.

Вскоре Артем пошел домой, а на другое утро он спозаранку собрался в школу.

— Куда ты? Рано еще,— сказала мать.

— Да, а там учительница Аполлинурия Николаевна!— ответил Артем.

— Ну что ж что учительница. Она добрая.

— Она, должно, уже соскучилась,— сказал Артем.— Мне пора.

Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дороге.

— Ну, иди, иди помаленьку. Учись там и расти большой.

1947

СОДЕРЖАНИЕ

В. Чалмаев. Величие простых сердец (предисловие)	5
Родина электричества	13
Песчаная учительница	29
Такыр	37
Третий сын	58
Фро	64
На заре туманной юности	87
Июльская гроза	113
По небу полуночи	128
Жена машиниста	147
В прекрасном и яростном мире	154
Железная старуха	168
В сторону заката солнца	175
Девушка Роза	185
Неодушевленный враг	192
Иван Великий	202
Три солдата	209
Корова	217
Маленький солдат	228
Возвращение	233
Цветок на земле	258
Еще мама	263

Андрей Платонович Платонов

Июльская гроза

Рассказы

Оформление серии Г. Прокшина

Редактор Д. Даминов
Художественный редактор А. Астраханцев
Технический редактор Г. Зигангирова
Корректоры Л. Останина, Т. Горьяйнова

ИБ № 1224

Сдано в набор 28.07.80. Подписано к печати 8.10.80.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Учетн.-издат. л. 13,81. Тираж 100 000. Заказ № 220.
Цена 1 руб. 30 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата БАССР, Уфа-1, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 27.06.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 30 коп.